





Брудастый

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

ПО ПОДЛИННЫМ
ДОКУМЕНТАМ
ИЗДАЛ

М. Е. САЛТЫКОВ /ЩЕДРИН/



ХУДОЖНИКИ КУКРЫНИКСЫ

МОСКВА „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" 1981



ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города (или края) в данный период времени, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роясь в глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского Летописца», и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание «Летописца» довольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти

целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательнейших их действий, как-то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства мостовых, обложения данями откупщиков и т. д. Тем не менее даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина — распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского — неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни; в первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором — трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем — возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых — и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости*[1].

Летопись ведена преемственно четырьмя городовыми архивариусами* и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, повидимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною. Внешность «Летописца» имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности; листы его так же желты и испещрены каракулями, так же изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника погодинского древлехранилища. Так и чувствуется, как сидел над ними какой-нибудь архивный Пимен, освещая свой труд трепетно горящею сальною свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности гг. Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует особый свод, или «опись», составленная, очевидно, последним летописцем; кроме того, в виде оправдательных документов, к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения: «Об административном всех градоначальников единомыслии», «О благовидной градоначальников наружности», «О спасительности усмирений (с картинками)», «Мысли при взыскании недоимок», «Превратное течение времени» и, наконец, довольно объемистая диссертация «О строгости». Утвердительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников (многие из них даже подписаны) и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дают совершенно верное понятие о современном поло-

[1] Объяснения слов и выражений, помеченных звездочкой, даны в конце книги на стр. 201—206.

жении русской орфографии и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы «Летописца».

Что касается до внутреннего содержания «Летописца», то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ни с чем не сообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте «Летописец» рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом — как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако ж, себя вправе утаить эти подробности; напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большею ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов нимало не устраняет их административно-воспитательного значения, и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности.

Во всяком случае, в видах предотвращения злонамеренных толкований, издатель считает долгом оговориться, что весь его труд в настоящем случае заключается только в том, что он исправил тяжелый и устарелый слог «Летописца» и имел надлежащий надзор за орфографией, нимало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина, и это одно уже может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче.





ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

От последнего архивариуса-летописца[1]

Ежели древним еллинам и римлянам дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам и предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужели же мы, христиане, от Византии свет получившие, окажемся в сем случае менее достойными и благодарными? Ужели во всякой стране найдутся и Нероны преславные, и Кали-

[1] «Обращение» это помещается здесь досрочно словами самого «Летописца». Издатель позволил себе наблюсти только за тем, чтобы права буквы «ять» не были слишком бесцеремонно нарушены.— *Изд.*

гулы, доблестью сияющие[1], и только у себя мы таковых не обрящем? Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу, а не то чтобы оную вслух проповедовать, как делают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове, словно мухи без пристанища, там и сям вольно летают.

Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь*, — и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может. Взгляни на первую лужу — и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов нревосходит и затемняет. Взгляни на древо — и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно, и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону — и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюхо, и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее: глава ли твоя, хотя и легкою начинкою начиненная, но и за всем тем горе́* устремляющаяся, или же стремящееся до́лу* брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготовлять... О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!

Таковы-то были мысли, которые побудили меня, смиренного городового архивариуса (получающего в месяц два рубля содержания, но и за всем тем славословящего) купно* с троими моими предшественниками, неумытными* устами воспеть хвалу славных оных Неронов[2], кои не безбожием и лживою еллинскою мудростью, но твердостью и начальственным дерзновением преславный наш град Глупов преестественно украсили. Не имея дара стихослагательного, мы не решились прибегнуть к бряцанию и, положась на волю божию, стали излагать достойные деяния недостойным, но свойственным нам языком, избегая лишь подлых слов. Думаю, впрочем, что таковая дерзостная наша затея простится нам ввиду того особливого намерения, которое мы имели, приступая к ней.

Сие намерение — есть изобразить преемственно градоначальников, в город Глупов от российского правительства в разное время поставленных. Но, предпринимая столь важную материю, я, по крайней мере, не раз вопрошал себя: по силам ли будет мне сие бремя? Много видел я на своем веку поразительных сих подвижников, много видели таковых и мои предместники. Всего же числом двадцать два, следовавших непрерывно, в величественном порядке, один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, пролетали из края в край, все очищая и обновляя; другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность

---

[1] Очевидно, что летописец, определяя качества этих исторических лиц, не имел понятия даже о руководствах, изданных для средних учебных заведений. Но страннее всего, что он был незнаком даже с стихами Державина:

> Калигула! твой конь в сенате
> Не мог сиять, сияя в злате:
> Сияют добрые дела! — *Прим. изд.*

[2] Опять та же прискорбная ошибка.— *Изд.*

представляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были градоначальники. Сие трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более славословить: власть ли, в меру дерзающую, или сей виноград*, в меру благодарящий?

Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и не малым, для летописателя, облегчением. Ибо в чем состоит, собственно, задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? — Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? — Нет, и не в этом. В чем же? — А в том, легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия, и об оном предать потомству в надлежащее назидание.

В сем виде взятая, задача делается доступною даже смиреннейшему из смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный сосуд*, в котором замыкается разлитое повсюду в изобилии славословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимая в нем сладкая славословная влага. А скудельный сосуд про себя скажет: вот и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержания два рубля медных в месяц!

Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас — благочестие, Рим заражало буйство, а нас — кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас — начальники.

И еще скажу: летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса: Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка, Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу и дабы не напечатал он их в своем «Архиве». А затем богу слава и разглагольствию моему конец.





О КОРЕНИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЛУПОВЦЕВ

«Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облакы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло»[1].

---

[1] Очевидно, летописец подражает здесь «Слову о полку Игореве»: «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мыслью по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы». И далее: «о Бояне! соловию старого времени! Абы ты сии пълки ущекотал» и т. д.— *Изд.*

Так начинает свой рассказ летописец, и затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает.

Был, говорит он, в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычки «тяпать» головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется — об стену тяпают; богу молиться начнут — об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонёбые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности, когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно», и были наперед уверены, что «стыд глаза не выест». Таким образом взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешки кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев; и нечем было «людской завод» продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять, и послали сказать соседям: будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает. «Хитро это они сделали,— говорит летописец,— знали, что головы у них на плечах растут крепкие — вот и предложили». И действительно как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех, с божьею помощью, перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи; больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхие. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости. А именно: в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, неуверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству: пустили на кособрюхих солнышко. Солнышко-то и само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхим в глаза, но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками: вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами. Однако кособрюхие не сразу испугались, а сначала тоже догадались: высыпали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками. Но изловить не изловили, и только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную.

Собрав воедино куралесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри, с очевидною целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в



кошеле кашу варили, потом козла в соложеном тесте* утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потом лапти растеряли да по дворам искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за восемь верст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом беса в солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец, утомились и стали ждать, что из этого выйдет.

Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села; блины, которыми острог конопатили, арестанты съели; кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашею. А рознь да галденье пошли пуще прежнего: опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя.

— Он нам все мигом предоставит,— говорил старец Добромысл,— он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следовает, выстроит! Айда́, ребята!

Искали, искали они князя и чуть-чуть в трех соснах не заблудилися, да спасибо случился тут пошехонец-слепород, который эти три сосны как свои пять пальцев знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор.

— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — вопросил князь посланных.

— Мы головотяпы! нет нас в свете народа мудрее и храбрее! Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали! — хвастали головотяпы.

— А что вы еще сделали?

— Да вот комара за семь верст ловили,— начали было головотяпы, и вдруг им сделалось так смешно, так смешно... Посмотрели они друг на дружку и прыснули.

— А ведь это ты, Пётра, комара-то ловить ходил! — насмехался Ивашка.

— Ан ты!

— Нет, не я! у тебя он и на носу-то сидел!

Тогда князь, видя, что они и здесь, перед лицом его, своей розни не покидают, сильно распалился и начал учить их жезлом.

— Глупые вы, глупые! — сказал он,— не головотяпами следует вам, по делам вашим, называться, а глуповцами! Не хочу я володеть глупыми! а ищите такого князя, какого нет в свете глупее — и тот будет володеть вами.

Сказавши это, еще маленько поучил жезлом и отослал головотяпов от себя с честию.

Задумались головотяпы над словами князя; всю дорогу шли и все думали.

— За что он нас раскостил? — говорили одни,— мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого!

Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели.

— Что же! — возражали они,— нам глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет! Сейчас мы ему коврижку в руки: жуй, а нас не замай!

— И то правда,— согласились прочие.

Воротились добры молодцы домой, но сначала решили опять попробовать устроиться сами собою. Петуха на канате кормили, чтоб не убежал, божку съели... Однако толку все не было. Думали-думали и пошли искать глупого князя.

Шли они по ровному месту три года и три дня, и всё никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец-рукосуй, рукавицы торчат за поясом, а он других ищет.

— Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее? — взмолились головотяпы.

— Знаю, есть такой,— отвечал рукосуй,— вот идите прямо через болото, как раз тут.

Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло («Многие за землю свою поревновали», говорит летописец); наконец вылезли из трясины и видят: на другом краю болотины, прямо перед ними, сидит сам князь — да глупый-преглупый! Сидит и ест пряники писаные. Обрадовались головотяпы: вот так князь! лучшего и желать нам не надо!

— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — молвил князь, жуя пряники.

— Мы головотяпы! нет нас народа мудрее и храбрее! Мы гущеедов — и тех победили! — хвастались головотяпы.

— Что же вы еще сделали?

— Мы щуку с яиц согнали, мы Волгу толокном замесили... — начали было перечислять головотяпы, но князь не захотел и слушать их.

— Я уж на что глуп,— сказал он,— а вы еще глупее меня! Разве щука сидит на яйцах? или можно разве вольную реку толокном месить? Нет, не головотяпами следует вам называться, а глуповцами! Не хочу я володеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее,— и тот будет володеть вами!

И, наказав жезлом, отпустил с честию.

Задумались головотяпы: надул курицын сын рукосуй! Сказывал, нет этого князя глупее — ан он умный! Однако воротились домой и опять стали сами собой устраиваться. Под дождем онучи сушили, на сосну Москву смотреть лазили. И все нет как нет порядку, да и полно. Тогда надоумил всех Пётра Комар.

— Есть у меня,— сказал он,— друг-приятель, по прозванью вор-ново́тор, уж если экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым, рубите с плеч мою голову бесталанную!

С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались и призвали ново́тора-вора. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу*, головотяпы же давали грош* да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя.

— Ты нам такого ищи, чтоб немудрый был! — говорили головотяпы новотору-вору,— на что нам мудрого-то, ну его к ляду!

И повел их вор-новотор сначала все ельничком да березничком, потом чащей дремучею, потом перелесочком, да и вывел прямо на поляночку, а посередь той поляночки князь сидит.

Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит, это, перед ними князь да умной-преумной; в ружьецо попаливает да сабелькой помахивает. Что ни выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит, что ни махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А вор-новотор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брюхо поглаживает да в бороду усмехается.

— Что ты! с ума, никак, спятил! пойдет ли этот к нам? во сто раз глупее были,— и те не пошли! — напустились головотяпы на новотора-вора.

— Ни́што! обладим! — молвил вор-новотор,— дай срок, я глаз на глаз с ним слово перемолвлю.

Видят головотяпы, что вор-новотор кругом на кривой их объехал, а на попятный уж не смеют.

— Это, брат, не то, что с «кособрюхими» лбами тяпаться! нет, тут, брат, ответ подай: каков таков человек? какого чину и звания? — гуторят они меж собой.

А вор-новотор этим временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что — не слыхать. Только и почуяли головотяпы, как вор-новотор говорил: «Драть их, ваша княжеская светлость, завсегда очень свободно».

Наконец и для них настал черед встать перед ясные очи его княжеской светлости.

— Что вы за люди? и зачем ко мне пожаловали? — обратился к ним князь.

— Мы головотяпы! нет нас народа храбрее, — начали было головотяпы, но вдруг смутились.

— Слыхал, господа головотяпы! — усмехнулся князь («и таково ласково усмехнулся, словно солнышко просияло!» — замечает летописец), — весьма слыхал! И о том знаю, как вы рака с колокольным звоном встречали — довольно знаю! Об одном не знаю, зачем же ко мне-то вы пожаловали?

— А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить: много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружке разорений и наругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!

— А у кого, спрошу вас, вы допрежь сего из князей, братьев моих, с поклоном были?

— А были мы у одного князя глупого, да у другого князя глупого ж — и те володеть нами не похотели!

— Ладно. Володеть вами я желаю, — сказал князь, — а чтоб идти к вам жить — не пойду! Потому вы живете звериным обычаем: с беспробного золота пенки снимаете, снох портите! А вот посылаю к вам, заместо себя, самого этого новотора-вора: пущай он вами до́ма правит, а я отсель и им и вами помыкать буду!

Понурили головотяпы головы и сказали:

— Так!

— И будете вы платить мне дани многие, — продолжал князь, — у кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь; у кого грош случится, тот разломи его на́четверо: одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну — и вы идите! А до прочего вам ни до чего дела нет!

— Так! — отвечали головотяпы.

— И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех — казнить.

— Так! — отвечали головотяпы.

— А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами.

— Так! — отвечали головотяпы.

Затем приказал князь обнести послов водкою да одарить по пирогу, да по платку алому, и, обложив данями многими, отпустил от себя с честию.

Шли головотяпы домой и воздыхали. «Воздыхали не ослабляючи, вопияли сильно!» — свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда какова!» — говорили они. И еще говорили: «Та́кали мы, та́кали, да и прота́кали!» Один же из них, взяв гусли, запел:

Не шуми, мати зелена дубровушка!
Не мешай добру молодцу думу думати,
Как заутра мне, добру молодцу, на допрос идти
Перед грозного судью, самого царя...

Чем далее лилась песня, тем ниже понуривались головы головотяпов. «Были между ними,— говорит летописец,— старики седые и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и молодые, кои той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть». Когда же раздались заключительные стихи песни:

Я за то тебя, детинушку, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя столбами с перекладиною...—

то все пали ниц и зарыдали.

Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами. «Так и процвела сия древняя отрасль»,— прибавляет летописец.

Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару* с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно, не в долгом времени возжег бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом сычужники. Вор-новотор ходил на них с пушечным снарядом, палил неослабляючи и, перепалив всех, заключил мир, то есть у заугольников ел палтусину*, у сычужников — сычуги*. И получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Но новотор, как сущий вор, и тут извернулся: предварил казнь тем, что, не выждав петли, зарезался огурцом.

После новотора-вора пришел «заместь князя» одоевец, тот самый, который «на грош постных яиц купил». Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал донимать. Поднялись кособрюхие, калашники, соломатники — все отстаивали старину да права свои. Одоевец пошел против бунтовщиков, и тоже начал неослабно палить, но, должно быть, палил зря, потому что бунтовщики не только не смиря-

лись, но увлекли за собой чернонёбых и губошлепов. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового одоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел: вышел против бунтовщиков собственною персоною и, перепалив всех до единого, возвратился восвояси.

— Посылал я сущего вора — оказался вор,— печаловался при этом князь,— посылал одоевца по прозванию «продай на грош постных яиц» — и тот оказался вор же. Кого пошлю ныне?

Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество: орловцу ли — на том основании, что «Орел да Кромы — первые воры»,— или шуянину, на том основании, что он «в Питере бывал, на полу сыпа́л, и тут не упал», но, наконец, предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду «Проломленных Голов». Но едва прибыл орловец на место, как встали бунтом старичане и, вместо воеводы, встретили с хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в Старице стерлядями полакомиться, но нашел, что там «только грязи довольно». Тогда он Старицу сжег, а жен и дев старицких отдал самому себе на поругание. «Князь же, уведав о том, урезал ему язык».

Затем князь еще раз попробовал послать «вора попроще», и в этих соображениях выбрал калязинца, который «свинью за бобра купил», но этот оказался еще пущим вором, нежели новотор и орловец. Взбунтовал семендяевцев и заозерцев и «убив их, сжег».

Тогда князь выпучил глаза и воскликнул:

— Несть глупости горшия*, яко глупость!

И прибых собственною персоною в Глупов и возопи:

— Запорю!»

С этим словом начались исторические времена.





ОПИСЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИКАМ,

в разное время в город Глупов от вышнего начальства поставленным

(1731—1826)

1) Клементий, Амадей Мануйлович. Вывезен из Италии Бироном, герцогом Курляндским, за искусную стряпню макарон; потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в Глупов, не только не оставил занятия макаронами, но даже многих усильно к тому принуждал, чем себя и воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом и, по вырвании ноздрей, сослан в Березов.

2) Ферапонтов, Фотий Петрович, бригадир. Бывый брадобрей оного же герцога Курляндского. Многократно делал походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, быв в лесу, растерзан собаками.

3) Великанов, Иван Матвеевич. Обложил в свою пользу жителей данью по три копейки с души, предварительно утопив в реке экономии директора. Перебил в кровь многих капитан-исправников. В 1740 году, в царствование кроткия Елисавет, быв уличен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной, бит кнутом и, по урезании языка, сослан в заточение в чердынский острог.

4) Урус-Кугуш-Кильдибаев, Маныл Самылович, капитан-поручик из лейб-кампанцев*. Отличался безумной отвагой, и даже брал однажды приступом город Глупов. По доведении о сем до сведения, похвалы не получил и в 1745 году уволен с распубликованием.

5) Ламврокакис, беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина, пойманный графом Кирилою Разумовским в Нежине, на базаре. Торговал греческим мылом, губкою и орехами; сверх того, был сторонником классического образования. В 1756 году был найден в постели, заеденный клопами.

6) Баклап, Иван Матвеевич, бригадир. Был роста трех аршин и трех вершков, и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого (известная в Москве колокольня). Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году.

7) Пфейфер, Богдан Богданович, гвардии сержант, голштинский выходец. Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество.

8) Брудастый, Дементий Варламович. Назначен был впопыхах и имел в голове некоторое особливое устройство, за что и прозван был «Органчиком». Это не мешало ему, впрочем, привести в порядок недоимки, запущенные его предместником. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся семь дней, как о том будет повествуемо ниже.

9) Двоекуров, Семен Константиныч, штатский советник и кавалер. Вымостил Большую и Дворянскую улицы, завел пивоварение и медоварение, ввел в употребление горчицу и лавровый лист, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал о заведении в Глупове академии. Написал сочинение: «Жизнеописания замечательнейших обезьян». Будучи крепкого телосложения, имел последовательно восемь амант*. Супруга его, Лукерья Терентьевна, тоже была весьма снисходительна, и тем много способствовала блеску сего правления. Умер в 1770 году своею смертью.

10) Маркиз де Санглот, Антон Протасьевич, французский выходец и друг Дидерота. Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни. Летал по воздуху в городском саду и чуть было не улетел совсем, как зацепился фалдами за шпиц, и оттуда с превеликим трудом снят. За эту затею уволен в 1772 году, а в следующем же году, не уныв духом, давал представления у Излера на минеральных водах[1].

11) Фердыщенко, Петр Петрович, бригадир. Бывший денщик князя Потемкина. При не весьма обширном уме, был косноязычен. Недоимки запустил; любил есть буженину и гуся с капустой. Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения.

12) Бородавкин, Василиск Семенович. Градоначальничество сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною. Ввел в употребление игру ламуш* и прованское масло; замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам; вновь ходатайствовал о заведении в Глупове академии, но, получив отказ, построил съезжий дом*. Умер в 1798 году, на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником.

13) Негодяев, Онуфрий Иванович, бывый гатчинский истопник. Размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 году за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгоновым (знаменитый в свое время триумвират) насчет конституции, в чем его и оправдали последствия.

14) Микаладзе, князь, Ксаверий Георгиевич, черкашенин, потомок сладострастной княгини Тамары. Имел обольстительную наружность, и был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое. Оставил полезное по сему предмету руководство. Умер в 1814 году от истощения сил.

15) Беневоленский, Феофилакт Иринархович, статский советник, товарищ Сперанского по семинарии. Был мудр и оказывал склонность к законодательству. Предсказал гласные суды и земство. Имел любовную связь с купчихою Распоповою, у которой, по субботам, едал пироги с начинкой. В свободное от занятий время сочинял для городских попов проповеди и переводил с латинского сочинения Фомы Кемпийского. Вновь ввел в употребление, яко полезные, горчицу, лавровый лист и прованское масло. Первый обложил данью откуп, от коего и получал три тысячи рублей в год. В 1811 году, за потворство Бонапарту, был призван к ответу и сослан в заточение.

[1] Это очевидная ошибка.— *Прим. изд.*

16) Прыщ, майор, Иван Пантелеич. Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства.

17) Иванов, статский советник, Никодим Осипович. Был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов. Умер в 1819 году от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ.

18) Дю Шарио, виконт, Ангел Дорофеевич, французский выходец. Любил рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении, оказался девицею. Выслан в 1821 году за границу.

19) Грустилов, Эраст Андреевич, статский советник. Друг Карамзина. Отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще, и не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году. Дань с откупа возвысил до пяти тысяч рублей в год.

20) Угрюм-Бурчеев, бывый прохвост*. Разрушил старый город и построил другой на новом месте.

21) Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.





ОРГАНЧИК[1]

В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей». Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из

---

[1] По «Краткой описи» значится под № 8. Издатель нашел возможным не придерживаться строго хронологического порядка при ознакомлении публики с содержанием «Летописца». Сверх того, он счел за лучшее представить здесь биографии только замечательнейших градоначальников, так как правители не столь замечательные достаточно характеризуются предшествующею настоящему очерку «Краткою описью».— *Изд.*

них, и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: «Батюшка-то наш! красавчик-то наш! умница-то наш!»

Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля, и что, под наблюдением квартальных надзирателей, возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника, и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что, за всем тем, новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.

Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хотин.

Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по малой мере, преждевременны и преувеличенны. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие. Все на этом приеме совершилось както загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов*, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» — и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними остолбенели и обыватели.

Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы — народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его по временам исходили любезные прибаутки, и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии (таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по «описи» под № 9), но так как они не обзывали глуповцев ни «братцами», ни «робятами», то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые — таких не бывало, — а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки, но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали*, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд.



Так было и в настоящем случае. Как ни воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их.

— Что ж это такое! — фыркнул — и затылок показал! нешто мы затылков не видали! а ты по душе с нами поговори! ты лаской-то, лаской-то пронимай! ты пригрозить-то пригрози, да потом и помилуй! — Так говорили глуповцы, и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники, всё приветливые, да добрые, да красавчики — и все-то в мундирах! Вспомнили даже беглого грека Ламвроканиса (по «описи» под № 5), вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан (по «описи» под № 6), и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями.

— Натиск, — сказал он, — и притом быстрота, снисходительность, и притом строгость. И притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель или, точнее сказать, те пять целей, которых я, с божьею помощью, надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность или, лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании!

И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому голове и присовокупил:

— А по праздникам будем есть у вас пироги!

— Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали! — вздыхали глуповцы, — а этот что! фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков!

Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил: «Не потерплю!» — и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города; частные пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают... А градоначальник все сидит, и выскребает все новые и новые понуждения... Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее: «Не потерплю!»

Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: а ну, как он этаким манером целый город выпорет! Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю!» — наконец, прибегли к истории Глупова, стали отыскивать в ней примеры спасительной градоначальнической строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались.

— И хоть бы он делом сказывал, по скольку с души ему надобно! — беседовали между собой смущенные обыватели, — а то цыркает, да и нá-поди!

Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена тушинского царика, да еще при Бироне, когда гулящая девка, Танька Корявая, чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше; по крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх.

В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того мало оживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов; густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал, далеко за полночь, зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись, за письменным столом, и все что-то скребет пером... И вдруг подойдет к окну, крикнет «не потерплю!» — и опять садится за стол и опять скребет...

Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в Глупов по легкомыслию; что он по ночам, в виде ненасытного упыря, парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом; хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колена и просить прощенья, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве.

И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды, в третьем часу ночи, видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то обернутое в салфетке. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбужен криком «не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров[1] и погрузился в сон.

---

[1] Очевидный анахронизм. В 1762 году недоимочных реестров не было, а просто взыскивались деньги, сколько с кого надлежит. Не было, следовательно, и критического анализа. Впрочем, это скорее не анахронизм, а прозорливость, которую летописец, по местам, обнаруживает в столь сильной степени, что читателю делается даже не совсем ловко. Так, например (мы увидим это далее), он провидел изобретение электрического телеграфа и даже учреждение губернских правлений.— *Изд.*

Возник вопрос: какую надобность мог иметь градоначальник в Байбакове, который, кроме того что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей?

Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем как рыба, и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали споить его, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал. Находившиеся у него в ученье мальчики могли сообщить одно: что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал.

Более ничего узнать не могли. Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому Винтергальтеру[1] в нос бросится.

Среди всех этих толков и пересудов, вдруг как с неба упала повестка, приглашавшая именитейших представителей глуповской интеллигенции, в такой-то день и час, прибыть к градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться.

То был прекрасный весенний день. Природа ликовала; воробьи чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судбища. Наконец ожидаемая минута настала.

Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него (по крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки). Он по очереди обошел всех обывателей, и хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончивши с этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот... И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. «П...п...плю!» наконец вырвалось у него из уст... С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры.

Читая в «Летописце» описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за сто лет тому назад, поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, непохожего даже на бой часов. Но

---

[1] Новый пример прозорливости: Винтергальтера в 1762 году не было.— *Изд.*



в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что, как ни потрясло их описанное выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальстволюбию, и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника.

— И откуда к нам экой прохвост выискался! — говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.

— Смотри, братцы! как бы нам тово... отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! — присовокупляли другие.

И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.

И остался бы наш Брудастый на многие годы пастырем вертограда* сего, и радовал бы сердца начальников своею распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычайного, если бы обстоятельство совершенно случайное (простая оплошность) не прекратило его деятельности в самом ее разгаре.

Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедши утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище: градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова... Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали.

Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе как с согласия самого же градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе, в числе вещественных доказательств, оказались: долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? 2) возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап* задумался, пробормотал что-то о каком-то «градоначальническом веществе», якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована[1].

---

[1] Ныне доказано, что тела всех вообще начальников подчиняются тем же физиологическим законам, как и всякое другое человеческое тело, но не следует забывать, что в 1762 году наука была в младенчестве.— *Изд.*



Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух: или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию, и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний.

Но как ни строго хранили будочники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами, и сверх того боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах, вместо головы, была пустая посудина. Напротив, другие хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала.

В клубе, вечером, все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель Толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своею собственною головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания и даже счел его игрою воображения, но теперь ясно, что градоначальник, в видах собственного облегчения, по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камилавку* и надевает колпак. Другой заседатель, Младенцев, вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но Младенцеву не дали докончить, потому что, при первом упоминовении о Байбакове, всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника.

Тем не менее из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей, но потом, припомнив лондонских агитаторов[1] и переходя от одного силлогизма* к другому, заключила, что измена свила себе гнездо в самом Глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив смотрителя народного училища, предложили ему вопрос: бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком; но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах хотя и не порожний, но все равно *как бы* порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал.

[1] Даже и это предвидел «Летописец»! — *Изд.*

Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю», не отвечал, но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и, сверх того, пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание:

«Василием зовут меня, Ивановым сыном, по прозванию Байбаковым. Глуповский цеховой; у исповеди и святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов, и есмь оной секты лжеиерей*. Судился за сожитие вне брака с слободской женкой Матренкой, и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году, зимой,— не помню, какого числа и месяца,— быв разбужен в ночи, отправился я, в сопровождении полицейского десятского, к градоначальнику нашему, Дементию Варламовичу, и, пришед, застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помава́ющим*. Обеспамятев от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: «Не удивляйся, но попорченное исправь». После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: «разорю!» и «не потерплю!». Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие и совсем повыпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно, или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением* завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только: п-плю! В сей крайности, вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург, к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, в продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее сор, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие, по оплошности моей, законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не прибывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек, по весеннему нынешнему времени, голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых,

могу ли я, в случае присылки новой головы, оную утвердить и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать? ответствовать сим честь имею: утвердить могу и действовать оная будет, но настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Байбаков руку приложил».

Выслушав показание Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решился выжидать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму[1] и, заперев градоначальниково тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения.

Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того и еще два дня; пришла наконец и давно ожидаемая петербургская почта; но никакой головы не привезла.

Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустели; недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался; квартальные отбились от рук и нагло бездействовали; официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором, по фалдочкам хотя и признали лейб-кампанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенной от туловища головы.

В восемь часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно.

Проходит и еще один день, а градоначальниково тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальстволюбие, временно потрясенное странным поведением Брудастого, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству, и по телеграфу же получил известие, что он за нелепое донесение уволен от службы[2].

Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели — и тоже заплакали; явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить.

Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того чтоб держать посылку бережно

---

[1] Изумительно!! — *Изд.*

[2] Этот достойный чиновник оправдался и, как увидим ниже, принимал деятельнейшее участие в последующих глуповских событиях.— *Изд.*

на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплох, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами; мало того: она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю!»

Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу; вторым — незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты.

Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и, наконец, вывезена на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы — и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в Глупове.

Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, нимало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж грозен и облаком пресветлым одеян.

Наконец глуповцы не вытерпели; предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в каре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом.

Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающею быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей, не далее как вчера, в виду всех, свел двух купеческих жен.

— Куда ты девал нашего батюшку? — завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним.

— Атаманы-молодцы! где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт! — уговаривал толпу объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся.

Но волнение не унималось.

— Врешь, переметная сума! — отвечала толпа, — вы нарочно с квартальным стакнулись, чтоб батюшку нашего от себя избыть!

И бог знает чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом... исчезнувший градоначальник!

На нем был надет лейб-кампанский мундир; голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами.

— Разорю! — загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли.

Волнение было подавлено сразу; в этой, недавно столь грозно гудевшей, толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота подивиться на «сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение».

— Зачинщики, вперед! — скомандовал градоначальник, все более возвышая голос.

Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей, и уже набрали человек с десяток, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот.

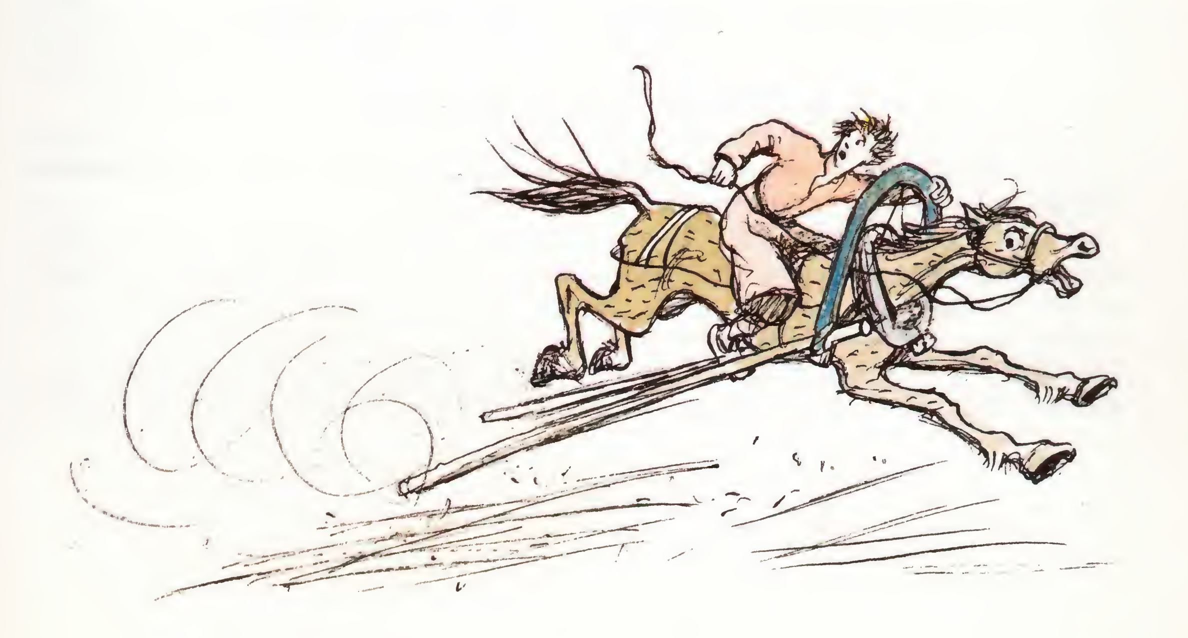
В то время как глуповцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки, к сборщику незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним в виду всей толпы очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который, за минуту перед тем, был привезен в телеге исправником! Глуповцы так и остолбенели.

Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой.

Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась[1].

---

[1] Издатель почел за лучшее закончить на этом месте настоящий рассказ, хотя «Летописец» и дополняет его различными разъяснениями. Так, например, он говорит, что на первом градоначальнике была надета та самая голова, которую выбросил из телеги посланный Винтергальтера и которую капитан-исправник приставил к туловищу неизвестного лейб-кампанца; на втором же градоначальнике была надета прежняя голова, которую наскоро исправил Байбаков, по приказанию помощника городничего, набивши ее, по ошибке, вместо музыки вышедшими из употребления предписаниями. Все эти рассуждения положительно младенческие, и несомненным остается только то, что оба градоначальника были самозванцы.— *Изд.*





СКАЗАНИЕ О ШЕСТИ ГРАДОНАЧАЛЬНИЦАХ

Картина глуповского междоусобия

Как и должно было ожидать, странные происшествия, совершившиеся в Глупове, не остались без последствий.

Не успело еще пагубное двоевластие пустить зловредные свои корни, как из губернии прибыл рассыльный, который, забрав обоих самозванцев и посадив их в особые сосуды, наполненные спиртом, немедленно увез для освидетельствования.

Но этот, по-видимому, естественный и законный акт административной твердости едва не сделался источником еще горших затрудне-

ний, нежели те, которые произведены были непонятным появлением двух одинаковых градоначальников.

Едва простыл след рассыльного, увезшего самозванцев, едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как, движимые силою начальстволюбия, немедленно впали в анархию.

«И лежал бы град сей и доднесь в оной погибельной бездне,— говорит «Летописец»,— ежели бы не был извлечен оттоль твердостью и самоотвержением некоторого неустрашимого штаб-офицера из местных обывателей».

Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската* двух граждан: Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот (в Глупове она была известна под именем Устиньи Протасьевны Трубочистихи; впоследствии же оказалась сестрою Марата[1] и умерла от угрызений совести) и, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан: Порфишку да другого Ивашку, и, ничего не доспев, разошлись по домам.

Между тем измена не дремала. Явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И, что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины.

Первая, которая замыслила похитить бразды глуповского правления, была Ираида Лукинишна Палеологова, бездетная вдова непреклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого цвета, напоминавшим старопечатные изображения. Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове, так что некоторые из старожилов полагали, что событие это совпадало с мраком времен. Жила она уединенно, питаясь скудною пищею, отдавая в рост деньги и жестоко истязуя четырех своих крепостных девок. Дерзкое свое предприятие она, по-видимому, зрело обдумала. Во-первых, она сообразила, что городу без начальства ни на минуту оставаться невозможно; во-вторых, нося фамилию Палеологовых, она видела в этом некоторое тайное указание; в-третьих, не мало предвещало ей хорошего и то обстоятельство, что покойный муж ее, бывший винный пристав, однажды, за оскудением, исправлял где-то должность градоначальника. «Сообразив сие,— говорит «Летописец»,— злоехидная оная Ираидка начала действовать».

Не успели глуповцы опомниться от вчерашних событий, как Палеологова, воспользовавшись тем, что помощник градоначальника с своими приспешниками засел в клубе в бостон*, извлекла из ножон шпагу покойного винного пристава и, напоив, для храбрости, троих солдат из местной инвалидной команды, вторглась в казначейство. Оттоль, взяв в плен казначея и бухгалтера, а казну бессовестно обо-

---

[1] Марат в то время не был известен; ошибку эту, впрочем, можно объяснить тем, что события описывались «Летописцем», по-видимому, не по горячим следам, а несколько лет спустя.— *Изд.*

крав, возвратилась в дом свой. Причем бросала в народ медными деньгами, а пьяные ее подручники восклицали: «Вот наша матушка! теперь нам, братцы, вина будет вволю!»

Когда на другой день помощник градоначальника проснулся, все уже было кончено. Он из окна видел, как обыватели поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Затем, хотя он и попытался вновь захватить бразды правления, но так как руки у него тряслись, то сейчас же их выпустил. В унынии и тоске он поспешил в городовое управление, чтоб узнать, сколько осталось верных ему полицейских солдат, но на дороге был схвачен заседателем Толковниковым и приведен пред Ираидку. Там уже застал он связанного казенных дел стряпчего, который тоже ожидал своей участи.

— Признаёте ли вы меня за градоначальницу? — кричала на них Ираидка.

— Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаю! — твердо отвечал мужественный помощник градоначальника. Казенных дел стряпчий трясся всем телом и трясением этим как бы подтверждал мужество своего сослуживца.

— Не о том вас спрашивают, мужняя ли я жена или вдова, а о том, признаете ли вы меня градоначальницею? — пуще ярилась Ираидка.

— Если более ясных доказательств не имеешь, то не признаю! — столь твердо отвечал помощник градоначальника, что стряпчий защелкал зубами и заметался во все стороны.

— Что с ними толковать! на раскат их! — вопил Толковников и его единомышленники.

Нет сомнения, что участь этих оставшихся верными долгу чиновников была бы весьма плачевна, если б не выручило их непредвиденное обстоятельство. В то время, когда Ираида беспечно торжествовала победу, неустрашимый штаб-офицер не дремал и, руководясь пословицей: «Выбивай клин клином», научил некоторую авантюристку, Клемантинку де Бурбон, предъявить свои права. Права эти заключались в том, что отец ее, Клемантинки, кавалер де Бурбон, был некогда где-то градоначальником и за фальшивую игру в карты от должности той уволен. Сверх сего, новая претендентша имела высокий рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаема польскою интригою, эта бездельная проходимица овладела умами почти мгновенно. Онять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку да третьего Ивашку, потом пошли к Трубочистихе и дотла разорили ее заведение, потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку да четвертого Ивашку.

В таком положении были дела, когда мужественных страдальцев повели к раскату. На улице их встретила предводимая Клемантинкою толпа, посреди которой недреманным оком* бодрствовал неустрашимый штаб-офицер*. Пленников немедленно освободили.

— Что, старички! признаете ли вы меня за градоначальницу? — спросила беспутная Клемантинка.



— Ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаём! — мужественно отвечал помощник градоначальника.

— Ну, Христос с вами! отведите им по клочку земли под огороды! пускай сажают капусту и пасут гусей! — коротко сказала Клементинка и с этим словом двинулась к дому, в котором укренилась Ираидка.

Произошло сражение; Ираидка защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера.

— Сдайся! — говорила Клементинка.

— Покорись, бесстыжая! да уйми своих кобелей! — храбро отвечала Ираидка.

Однако к утру следующего дня Ираидка начала ослабевать, но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгалтер, проникнувшись гражданскою храбростью, решительно отказались защищать укрепление. Положение осажденных сделалось весьма сомнительным. Сверх обязанности отбивать осаждающих, Ираидке необходимо было усмирять измену в собственном лагере. Предвидя конечную гибель, она решилась умереть геройскою смертью и, собрав награбленные в казне деньги, в виду всех взлетела на воздух вместе с казначеем и бухгалтером.

Утром помощник градоначальника, сажая капусту, видел, как обыватели вновь поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Некоторые из них до того осмелились, что даже подходили к нему, хлопали по плечу и в шутку называли свинопасом. Всех этих смельчаков помощник градоначальника, конечно, тогда же записал на бумажку.

Вести о «глуповском нелепом и смеха достойном смятении» достигли, наконец, и до начальства. Велено было «беспутную оную Клементинку, сыскав, представить, а которые есть у нее сообщники, то и тех, сыскав, представить же, а глуповцам крепко-накрепко наказать, дабы неповинных граждан в реке занапрасно не утапливали и с раската звериным обычаем не сбрасывали». Но известия о назначении нового градоначальника все еще не получалось.

Между тем дела в Глупове запутывались все больше и больше. Явилась третья претендентша, ревельская уроженка Амалия Карловна Штокфиш, которая основывала свои претензии единственно на том, что она два месяца жила у какого-то градоначальника в помпадуршах. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Семку и только что хотели спустить туда же пятого Ивашку, как были остановлены именитым гражданином Силой Терентьевым Пузановым.

— Атаманы-молодцы! — говорил Пузанов,— однако ведь мы таким манером всех людишек перебьем, а толку не измыслим!

— Правда! — согласились опомнившиеся атаманы-молодцы.

— Стой! — кричали другие,— а зачем Ивашко галдит? галдеть разве велено?

Пятый Ивашко стоял ни жив ни мертв перед раскатом, машинально кланяясь на все стороны.

В это время к толпе подъехала на белом коне девица Штокфиш,

сопровождаемая шестью пьяными солдатами, которые вели взятую в плен беспутную Клемантинку. Штокфиш была полная, белокурая немка, с высокою грудью, с румяными щеками и с пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась.

— Ишь толстомясая! пупки́-то нагуляла! — раздалось в разных местах.

Но Штокфиш, очевидно, заранее взвесила опасности своего положения и поторопилась отразить их хладнокровием.

— Атаманы-молодцы! — гаркнула она, молодецки указывая на обезумевшую от водки Клемантинку, — вот беспутная оная Клемантинка, которую велено, сыскав, представить! видели?

— Видели! — шумела толпа.

— Точно видели? и признаёте ее за ту самую беспутную оную Клемантинку, которую велено, сыскав, немедленно представить?

— Видели! признаем!

— Так выкатить им три бочки пенного! — воскликнула неустрашимая немка, обращаясь к солдатам, и, не торопясь, выехала из толпы.

— Вот она! вот она, матушка-то наша Амалия Карловна! теперь, братцы, вина у нас будет вдоволь! — гаркнули атаманы-молодцы вслед уезжающей.

В этот день весь Глупов был пьян, а больше всех пятый Ивашко. Беспутную оную Клемантинку посадили в клетку и вывезли на площадь; атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Некоторые, более добродушные, потчевали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-нибудь коленце.

Легкость, с которою толстомясая немка Штокфиш одержала победу над беспутною Клемантинкой, объясняется очень просто. Клемантинка, как только уничтожила Раидку, так сейчас же заперлась с своими солдатами и предалась изнеженности нравов. Напрасно пан Кшепшицюльский и пан Пшекшицюльский, которых она была тайным орудием, усовещивали, протестовали и угрожали — Клемантинка через пять минут была до того пьяна, что ничего уж не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но потом, увидев бесполезность дальнейшей стойкости, отступились. И действительно, в ту же ночь Клемантинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволочена в одной рубашке на улицу.

Неустрашимый штаб-офицер (из обывателей) был в отчаянии. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний ровно ничего не выходило. Анархия царствовала в городе полная; начальствующих не было; предводитель удрал в деревню; старший квартальный зарылся с смотрителем училищ на пожарном дворе в солому и трепетал. Самого его, штаб-офицера, сыскивали по городу и за поимку назначено было награды алтын. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тот алтын прикарманить. Он уж подумывал, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись к толстомясой немке с повинною, как вдруг неожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборот.

Легко было немке справиться с беспутною Клемантинкою, но не-

сравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После разгрома Клемантинкинова паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел из себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием.

Было свежее майское утро, и с неба падала изобильная роса. После бессонной и бурно проведенной ночи глуповцы улеглись спать, и в городе царствовала тишина непробудная. Около деревянного домика невзрачной наружности суетились какие-то два парня и мазали дегтем ворота. Увидев панов, они, по-видимому, смешались и спешили наутек, но были остановлены.

— Что вы тут делаете? — спросили паны.

— Да вот, Нелькины ворота дегтем мажем! — сознался один из парней, — оченно она ноне на все стороны махаться стала!

Паны переглянулись и как-то многозначительно цыркнули. Хотя они пошли далее, но в головах их созрел уже план. Они вспомнили, что в ветхом деревянном домике действительно жила и содержала заезжий дом их компатриотка, Анеля Алоизиевна Лядоховская, и что хотя она не имела никаких прав на название градоначальнической помпадурши, но тоже была как-то однажды призываема к градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендентшу и сплести новую польскую интригу.

Они тем легче могли успеть в своем намерении, что в это время своеволие глуповцев дошло до размеров неслыханных. Мало того что они в один день сбросили с раската и утопили в реке целые десятки излюбленных граждан, но на заставе самовольно остановили ехавшего из губернии, по казенной подорожной, чиновника.

— Кто ты? и с чем к нам приехал? — спрашивали глуповцы у чиновника.

— Чиновник из губернии (имярек), — отвечал приезжий, — и приехал сюда для розыску бездельных Клемантинкиных дел!

— Врет он! Он от Клемантинки, от подлой, подослан! волоките его на съезжую! — кричали атаманы-молодцы.

Напрасно протестовал и сопротивлялся приезжий, напрасно показывал какие-то бумаги, народ ничему не верил и не выпускал его.

— Нам, брат, этой бумаги целые вороха показывали — да пустое дело вышло! а с тобой нам ссылаться не пригоже, потому ты, и по обличью видно, беспутной оной Клемантинки лазутчик! — кричали одни.

— Что с ним по пустякам лясы точить! в воду его — и шабаш! — кричали другие.

Несчастного чиновника увели в съезжую избу и отдали за приставов.

Между тем Амалия Штокфиш распоряжалась; назначила с мещан по алтыну с каждого двора, с купцов же по фунту чаю да по голове сахару по большой. Потом поехала в казармы и из собственных рук поднесла солдатам по чарке водки и по куску пирога. Возвращаясь

домой, она встретила на дороге помощника градоначальника и стряпчего, которые гнали хворостиной гусей с луга.

— Ну что, старички? одумались? признаёте меня? — спросила она их благосклонно.

— Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник, то признаем! — твердо ответствовал помощник градоначальника.

— Ну, Христос с вами! пасите гусей! — сказала толстомясая немка и проследовала далее.

К вечеру полил такой сильный дождь, что улицы Глупова сделались на несколько часов непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству ночь минула благополучно для всех, кроме злосчастного приезжего чиновника, которого, для вернейшего испытания, посадили в темную и тесную каморку, исстари носившую название «большого блошиного завода», в отличие от малого завода, в котором испытывались преступники менее опасные. Наставшее затем утро также не благоприятствовало проискам польской интриги, так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. «Толстомясая немка», обманутая наружною тишиной, сочла себя вполне утвердившеюся и до того осмелилась, что вышла на улицу без провожатого и начала заигрывать с проходящими. Впрочем, к вечеру она, для формы, созвала опытнейших городских будочников и открыла совещание. Будочники единогласно советовали: первое, беспутную оную Клемантинку немедля утопить, дабы не смущала народ и не дразнила; второе, помощника градоначальника и стряпчего пытать, и в-третьих, неустрашимого штаб-офицера, сыскав, представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости и даже приезжего чиновника велела перевести из большого блошиного завода в малый.

Между тем глуповцы мало-помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся дотоле на задних дворах, робко, но твердым шагом выступали вперед. Помощник градоначальника, стакнувшись с стряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глуповцев удаляться немкиной и Клемантинкиной злоехидной прелести и обратиться к своим занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошиный завод, и предрекал Глупову великие от того бедствия. Сила Терентьев Пузанов при этих словах тоскливо замотал головой, так что если б атаманы-молодцы были крошечку побойчее, то они, конечно, разнесли бы съезжую избу по бревнышку. С другой стороны, и «беспутная оная Клемантинка» оказала немаловажную услугу партии порядка...

Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади, и глуповцам в сладость было, в часы досуга, приходить дразнить ее, так как она остервенялась при этом неслыханно, в особенности же когда к ее телу прикасались концами раскаленных железных прутьев.

— Что, Клемантинка, сладко? — хохотали одни, видя, как «беспутная» вертелась от боли.

— А сколько, братцы, эта паскуда винища у нас слопала — страсть! — прибавляли другие.

— Ваше я, что ли, пила? — огрызалась беспутная Клементинка, — кабы не моя несчастная слабость да не покинули меня паны мои милые, узнали бы вы у меня ужó, какова я есть!

— Толстомясая-то тебе небось прежде, какова она есть, показала!

— То-то «толстомясая»! Я, какова ни на есть, а все-таки градоначальническая дочь, а то взяли себе расхожую немку!

Призадумались глуповцы над этими Клементинкиными словами. Загадала она им загадку.

— А что, братцы! ведь она, Клементинка, хоть и беспутная, а правду молвила! — говорили одни.

— Пойдем разнесем толстомясую! — галдели другие.

И если б не подоспели тут будочники, то несдобровать бы «толстомясой», полететь бы ей вниз головой с раската! Но так как будочники были строгие, то дело порядка оттянулось, и атаманы-молодцы, пошумев еще с малость, разошлись по домам.

Но торжество «вольной немки» приходило к концу само собою. Ночью, едва успела она сомкнуть глаза, как услышала на улице подозрительный шум и сразу поняла, что все для нее кончено. В одной рубашке, босая, бросилась она к окну, чтобы, по крайней мере, избежать позора и не быть посаженной, подобно Клементинке, в клетку, но было уже поздно.

Сильная рука пана Кшепшицюльского крепко держала ее за стан, а Нелька Лядоховская, «разъярившись неслыханно», требовала к ответу.

— Правда ли, девка Амалька, что ты обманным образом власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила и тем многих людишек в соблазн ввела? — спрашивала ее Лядоховская.

— Правда, — отвечала Амалька, — только не обманным образом и не облыжно, а была и есмь градоначальница по самой сущей истине.

— И с чего тебе, паскуде, такое смехотворное дело в голову взбрело? и кто тебя, паскуду, тому делу научил? — продолжала допрашивать Лядоховская, не обращая внимания на Амалькин ответ.

Амалька обиделась.

— Может быть, и есть здесь паскуда, — сказала она, — только не я.

Сколько затем ни предлагали девке Амальке вопросов, она презрительно молчала; сколько ни принуждали ее повиниться — не повинилась. Решено было запереть ее в одну клетку с беспутною Клементинкой.

«Ужасно было видеть, — говорит «Летописец», — как оные две беспутные девки, от третьей, еще беспутнейшей, друг другу на съедение отданы были! Довольно сказать, что к утру на другой день в клетке ничего, кроме смрадных их костей, уже не было!»

Проснувшись, глуповцы с удивлением узнали о случившемся; но и тут не затруднились. Опять все вышли на улицу и стали поздравлять друг друга, лобызаться и проливать слезы. Некоторые просили опохмелиться.

— Ах, ляд вас побери! — говорил неустрашимый штаб-офицер,

взирая на эту картину.— Что ж мы, однако, теперь будем делать? — спрашивал он в тоске помощника градоначальника.

— Надо орудовать,— отвечал помощник градоначальника,— вот что! не пустить ли, сударь, в народе слух, что оная шельма Анелька заместо храмов божиих костелы везде ставить велела?

— И чудесно!

Но к полудню слухи сделались еще тревожнее. События следовали за событиями с быстротою неимоверною. В пригородной солдатской слободе объявилась еще претендентша, Дунька Толстопятая, а в стрелецкой слободе такую же претензию заявила Матренка-ноздря. Обе основывали свои права на том, что и они не раз бывали у градоначальников «для лакомства». Таким образом, приходилось отражать уже не одну, а разом трех претендентш.

И Дунька и Матренка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы, ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волоса по ветру, в одном утрепнем неглиже, они бегали по городским улицам, словно исступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова.

Глуповцы просто обезумели от ужаса. Опять все побежали к колокольне, и сколько тут было перебито и перетоплено тел народных — того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судбище; всякий припоминал про своего ближнего всякое, даже такое, что тому и во сне не снилось, и так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось: шлеп-шлеп-шлеп! К четырем часам пополудни загорелась съезжая изба; глуповцы кинулись туда и оцепенели, увидав, что приезжий из губернии чиновник сгорел весь без остатка. Опять началось судбище; стали доискиваться, от чьего воровства произошел пожар, и порешили, что пожар произведен сущим вором и бездельником пятым Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя чистосердечного во всем признания, но в эту самую минуту в пушкарской слободе загорелся тараканий малый заводец, и все шарахнулись туда, оставив пятого Ивашку висящим на дыбе. Зазвонили в набат, но пламя уже разлилось рекою и перепалило всех тараканов без остачи. Тогда поймали Матренку-ноздрю и начали вежливенько топить ее в реке, требуя, чтоб она сказала, кто ее, сущую бездельницу и воровку, на воровство научил и кто в том деле ей пособлял? Но Матренка только пускала в воде пузыри, а сообщников и пособников не выдала никого.

Среди этой общей тревоги об шельме Анельке совсем позабыли. Видя, что дело ее не выгорело, она, под шумок, снова переехала в свой заезжий дом, как будто за ней никаких пакостей и не водилось, а паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский завели кондитерскую и стали торговать в ней печатными пряниками. Оставалась одна толстопятая Дунька, но с нею совладать было решительно невозможно.

— А надо, братцы, изымать ее беспременно! — увещевал атамановмолодцов Сила Терентьич Пузанов.

— Да! поди, сунься! ловкой! — отвечали молодцы.

Был, по возмущении, уже день шестый.

Тогда произошло зрелище умилительное и беспримерное. Глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного* греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные. Поэтому всякий смотрел всякому смело в глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни Клемантинкой, ни Раидкой, ни Матренкой. Решили действовать единодушно и прежде всего снестись с пригородами. Как и следовало ожидать, первый выступил на сцену неустрашимый штаб-офицер.

— Сограждане! — начал он взволнованным голосом, но так как речь его была секретная, то весьма естественно, что никто ее не слыхал.

Тем не менее глуповцы прослезились и начали нудить помощника градоначальника, чтобы вновь принял бразды правления; но он, до поимки Дуньки, с твердостью от того отказался. Послышались в толпе вздохи; раздались восклицания: «Ах! согрешения наши великие!» — но помощник градоначальника был непоколебим.

— Атаманы-молодцы! в ком еще крамола осталась — выходи! — гаркнул голос из толпы.

Толпа молчала.

— Все очистились? — допрашивал тот же голос.

— Все! все! — загудела толпа.

— Крестись, братцы!

Все перекрестились, объявлено было против Дуньки-толстопятой общее ополчение.

Пригороды между тем один за другим слали в Глупов самые утешительные отписки. Все единодушно соглашались, что крамолу следует вырвать с корнем и для начала прежде всего очистить самих себя. Особенно трогательна была отписка пригорода Полоумнова. «Точию же, братие, сами себя прилежно испытуйте, — писали тамошние посадские люди, — да в сердцах ваших гнездо крамольное не свиваемо будет, а будете здравы, и пред лицом начальственным не злокозненны, но добротщательны, достохвальны и прелюбезны». Когда читалась эта отписка, в толпе раздавались рыдания, а посадская жена Аксинья Гунявая, воспалившись ревностью великою, тут же высыпала из кошеля два двугривенных и положила основание капиталу, для поимки Дуньки предназначенному.

Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на большом клоповном заводе и, вооружившись пушкой, стреляла из нее, как из ружья.

— Ишь шельма, каки́ артикулы пушкой выделывает! — говорили глуповцы, и не смели подступиться.

— Ах, съешь тя клопы! — восклицали другие.

Но и клопы были с нею как будто заодно. Она целыми тучами выпускала их против осаждающих, которые в ужасе разбегались. Решили обороняться от них варом, и средство это как будто помогло. Действительно, вылазки клопов прекратились, но подступиться к избе все-таки было невозможно, потому что клопы стояли там стена стеною,

да и пушка продолжала действовать смертоносно. Пытались было зажечь клоповный завод, но в действиях осаждающих было мало единомыслия, так как никто не хотел взять на себя обязанность руководить ими, — и попытка не удалась.

— Сдавайся, Дунька! не тронем! — кричали осаждающие, думая покорить ее льстивыми словами.

Но Дунька отвечала невежеством.

Так шло дело до вечера. Когда наступила ночь, осаждающие, благоразумно отступив, оставили, для всякого случая, у клоповного завода сторожевую цепь.

Оказалось, однако, что стратагема с варом осталась не без последствий. Не находя пищи за пределами укрепления и раздраженные запахом человеческого мяса, клопы устремились внутрь искать удовлетворения своей кровожадности. В самую глухую полночь Глупов был потрясен неестественным воплем: то испускала дух толстопятая Дунька, изъеденная клопами. Тело ее, буквально представлявшее сплошную язву, нашли на другой день лежащим посреди избы, и около нее пушку и бесчисленные стада передавленных клопов. Прочие клопы, как бы устыдившись своего подвига, попрятались в щелях.

Был, после начала возмущения, день седьмый. Глуповцы торжествовали. Но, несмотря на то что внутренние враги были побеждены и польская интрига посрамлена, атаманам-молодцам было как-то не по себе, так как о новом градоначальнике все еще не было ни слуху ни духу. Они слонялись по городу, словно отравленные мухи, и не смели ни за какое дело приняться, потому что не знали, как-то понравятся ихние недавние затеи новому начальнику.

Наконец в два часа пополудни седьмого дня он прибыл. Вновь назначенный, «сущий» градоначальник был статский советник и кавалер Семен Константинович Двоекуров.

Он немедленно вышел на площадь к буянам и потребовал зачинщиков. Выдали Степку Горластого да Фильку Бесчастного.

Супруга нового начальника, Лукерья Терентьевна, милостиво на все стороны кланялась.

Так кончилось это бездельное и смеха достойное неистовство; кончилось и с тех пор не повторялось.





ИЗВЕСТИЕ О ДВОЕКУРОВЕ

Семен Константинович Двоекуров градоначальствовал в Глупове с 1762 по 1770 год. Подробного описания его градоначальствования не найдено, но, судя по тому, что оно соответствовало первым и притом самым блестящим годам екатерининской эпохи, следует предполагать, что для Глупова это было едва ли не лучшее время в его истории.

О личности Двоекурова «Глуповский летописец» упоминает три раза: в первый раз в «краткой описи градоначальникам», во второй — в конце отчета о смутном времени, и в третий — при изложении истории глуповского либерализма (см. описание градоначальствования

Угрюм-Бурчеева). Из всех этих упоминовений явствует, что Двоекуров был человек передовой и смотрел на свои обязанности более нежели серьезно. Нельзя думать, чтобы «Летописец» добровольно допустил такой важный биографический пропуск в истории родного города; скорее должно предположить, что преемники Двоекурова с умыслом уничтожили его биографию, как представляющую свидетельство слишком явного либерализма, и могущую послужить для исследователей нашей старины соблазнительным поводом к отыскиванию конституционализма даже там, где, в сущности, существует лишь принцип свободного сечения. Догадку эту отчасти оправдывает то обстоятельство, что в глуповском архиве до сих пор существует листок, очевидно принадлежавший к полной биографии Двоекурова и до такой степени перемаранный, что, несмотря на все усилия, издатель «Летописи» мог разобрать лишь следующее: «имея немалый рост... подавал твердую надежду, что... Но, объят ужасом... не мог сего выполнить... Вспоминая, всю жизнь грустил...» И только. Что означают эти загадочные слова? — С полною достоверностью отвечать на этот вопрос, разумеется, нельзя, но если позволительно допустить в столь важном предмете догадки, то можно предположить одно из двух: или что в Двоекурове, при немалом его росте (около трех аршин), предполагался какой-то особенный талант (например, нравиться женщинам), которого он не оправдал, или что на него было возложено поручение, которого он, сробев, не выполнил. И потом всю жизнь грустил.

Как бы то ни было, но деятельность Двоекурова в Глупове была несомненно плодотворна. Одно то, что он ввел медоварение и пивоварение и сделал обязательным употребление горчицы и лаврового листа, доказывает, что он был по прямой линии родоначальником тех смелых новаторов, которые, спустя три четверти столетия, вели войны во имя картофеля. Но самое важное дело его градоначальствования — это, бесспорно, записка о необходимости учреждения в Глупове академии.

К счастию, эта записка уцелела вполне[1] и дает возможность произнести просвещенной деятельности Двоекурова вполне правильный и беспристрастный приговор. Издатель позволяет себе думать, что изложенные в этом документе мысли не только свидетельствуют, что в то отдаленное время уже встречались люди, обладавшие правильным взглядом на вещи, но могут даже и теперь служить руководством при осуществлении подобного рода предприятий. Конечно, современные нам академии имеют несколько иной характер, нежели тот, который предполагал им дать Двоекуров, но так как сила не в названии, а в той сущности, которую преследует проект и которая есть не что иное, как «рассмотрение наук», то очевидно, что покуда царствует потребность в «рассмотрении», до тех пор и проект Двоекурова удержит за собой все значение воспитательного документа. Что названия произвольны и весьма редко что-либо изменяют — это очень хорошо доказал один из преемников Двоекурова, Бородавкин. Он тоже ходатайствовал

[1] Она печатается дословно в конце настоящей книги, в числе оправдательных документов.— *Изд.*

об учреждении академии, и когда получил отказ, то, без дальнейших размышлений, выстроил вместо нее съезжий дом. Название изменилось, но предположенная цель была достигнута — Бородавкин ничего больше и не желал. Да и кто же может сказать, долго ли просуществовала бы построенная Бородавкиным академия и какие принесла бы она плоды? Быть может, она оказалась бы выстроенною на песке; быть может, вместо «рассмотрения» наук занялась бы насаждением таковых? Все это в высшей степени гадательно и неверно. А со съезжим домом — дело верное: и выстроен он прочно, и из колеи «рассмотрения» не выбьется никуда.

Вот эту-то мысль и развивает Двоекуров в своем проекте с тою непререкаемою ясностью и последовательностью, которыми, к сожалению, не обладает ни один из современных нам прожектёров. Конечно, он не был настолько решителен, как Бородавкин, то есть не выстроил съезжего дома вместо академии, но решительность, кажется, вообще не была в его нравах. Следует ли обвинять его за этот недостаток? или, напротив того, следует видеть в этом обстоятельстве тайную наклонность к конституционализму? — разрешение этого вопроса предоставляется современным исследователям отечественной старины, которых издатель и отсылает к подлинному документу.





ГОЛОДНЫЙ ГОРОД

1776-й год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых шесть лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенка. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенною настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления. Он ни во что не вмешивался, доволь-

ствовался умеренными данями, охотно захаживал в кабаки покалякать с целовальниками, по вечерам выходил в замасленном халате на крыльцо градоначальнического дома и играл с подчиненными в носки, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик».

— А ну, братик-сударик, ложись! — говорил он провинившемуся обывателю.

Или:

— А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо! потому, братик-сударик, что недоимка — это святое дело!

Понятно, что после затейливых действий маркиза де Санглота, который летал в городском саду по воздуху, мирное управление престарелого бригадира должно было показаться и «благоденственным», и «удивления достойным». В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить «без утеснения» не в пример лучше, чем жить «с утеснением».

— Нужды нет, что он парадов не делает да с полками на нас не ходит, — говорили они, — зато мы при нем, батюшке, свет у́зрили! Теперича, вышел ты за ворота: хошь — на месте сиди; хошь — куда хошь иди! А прежде, сколько одних порядков было — и не приведи бог!

Но на седьмом году правления Фердыщенку смутил бес. Этот добродушный и несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности: скинул замасленный халат и стал ходить по городу в вицмундире. Начал требовать, чтоб обыватели по сторонам не зевали, а смотрели в оба, и к довершению всего устроил такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться, если б, в минуту крайнего раздражения глуповцев, их не осенила мысль: «А ну как, братцы, нас за это не похвалят!»

Дело в том, что в это самое время на выезде из города, в слободе Навозной, цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. При среднем росте, она была полна, бела и румяна; имела большие серые глаза навыкате, не то бесстыжие, не то застенчивые, пухлые вишневые губы, густые, хорошо очерченные брови, темно-русую косу до пят и ходила по улице «серой утицей». Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене: молод, крепок, красив. Ходил он в плисовой поддевке и в поярковом грешневике*, расцвеченном павьими перьями. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души в Дмитрии. Частенько похаживали они в соседний кабак и, счастливые, распевали там вместе песни. Глуповцы же просто не могли нарадоваться на их согласную жизнь.

Долго ли, коротко ли они так жили, только в начале 1776 года, в тот самый кабак, где они в свободное время благодушествовали, зашел бригадир. Зашел, выпил косушку, спросил целовальника, много ли прибавляется пьяниц, но в это самое время увидел Аленку и почувст-

вовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку.

— Хочешь, молодка, со мною в любви жить? — спросил бригадир.

— А на что мне тебя... гунявого?* — отвечала Аленка, с наглостью смотря ему в глаза,— у меня свой муж хорош!

Только и было сказано между ними слов; но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать «с утеснением». Сам же, надев вицмундир, пошел в ряды и, дабы постепенно приучить себя к строгости, с азартом кричал на торговцев:

— Кто ваш начальник? сказывайте! или, может быть, не я ваш начальник?

С своей стороны, Дмитрий Прокофьев, вместо того чтоб смириться да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные слова, а Аленка, вооружась ухватом, гнала инвалидов прочь и на всю улицу орала:

— Ай да бригадир! к мужней жене, словно клоп, на перину всползти хочет!

Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавши об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своею единоличною властью старик поопа́сился. Собравши излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников.

— Вам, старички-братики, и книги в руки! — либерально прибавил он,— какое количество по душе назначите, я наперед согласен! Потому теперь у нас время такое: всякому свое, лишь бы поронцы были!

Излюбленные посоветовались, слегка погалдели и вынесли следующий ответ:

— Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их, шельмов, и учить следовает!

Стал бригадир считать звезды («очень он был прост»,— повторяет по этому случаю архивариус-летописец), но на первой же сотне сбился и обратился за разъяснениями к денщику. Денщик отвечал, что звезд на небе видимо-невидимо.

Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом, потому что когда Аленка с Митькой воротились, после экзекуции, домой, то шатались словно пьяные.

Однако Аленка и на этот раз не унялась или, как выражается летописец, «от бригадировых шелепов* пользы для себя не вкусила». Напротив того, она как будто пуще остервенилась, что и доказала через неделю, когда бригадир опять пришел в кабак и опять поманил Аленку.

— Что, дурья порода, надумалась? — спросил он ее.

— Ишь тебя, старого пса, ущемило! Или мало на стыдобушку мою насмотрелся! — огрызнулась Аленка.

— Ладно! — сказал бригадир.

Однако упорство старика заставило Аленку призадуматься. Воро-

тившись после этого разговора домой, она некоторое время ни за какое дело взяться не могла, словно места себе не находила; потом подвалилась к Митьке и горько-горько заплакала.

— Видно, как-никак, а быть мне у бригадира в полюбовницах! — говорила она, обливаясь слезами.

— Только ты это сделай! да я тебя... и черепки-то твои поганые по ветру пущу! — задыхался Митька, и в ярости полез уж было за вожжами на полати, но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел.

Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал, того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек бунтует.

Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная, бросилась Аленка на бригадирский двор, но путного ничего выговорить не могла, а только рвала на себе сарафан и безобразно кричала:

— На, пес! жри! жри! жри!

К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но, напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила; кричать — не кричала, а только потихоньку всхлипывала. Тогда бригадир приказал принести свой новый мундир, надел его и во всей красе показался Аленке. В это же время выбежала в дверь старая бригадирова экономка и начала Аленку усовещивать.

— Ну, чего ты, паскуда, жалеешь, подумай-ко! — говорила льстивая старуха,— ведь тебя бригадир-то в медовой сыте купать станет.

— Митьку жалко! — отвечала Аленка, но таким нерешительным голосом, что было очевидно, что она уже начинает помышлять о сдаче.

В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастию, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально, возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием, но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отпирался.

— Ничего я этого не знаю,— говорил он,— знаю только, что ты, старый пес, у меня жену уводом увел, и я тебе это, старому псу, прощаю... жри!

Тем не менее Митькиным словам не поверили, и так как казус* был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и, по наложении клейм, отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал; Аленка потихоньку всхлипывала.

Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.

Все изменилось с этих пор в Глупове. Бригадир, в полном мундире,

каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил. Даже Аленка начала поxодя тащить, и вдруг, ни с того ни с сего, стала требовать, чтоб ее признавали не за ямщичиху, а за поповскую дочь.

Но этого мало: самая природа перестала быть благосклонною к глуповцам. «Новая сия Иезавель*,— говорит об Аленке летописец,— навела на наш город сухость». С самого вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в межень, и вплоть до Ильина дня, не выпало ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного, и не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось и целым ливнем зноя обдавало все живущее; в воздухе замечалось словно дрожанье и пахло гарью; земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сохой, ни даже заступом взять ее было невозможно; травы и всходы огородных овощей поблекли; рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян; яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадежной наготою; даже лебеды не родилось; скотина металась, мычала и ржала; не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами; одни горшечники радовались вёдру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а ва́рева нет.

Однако глуповцы не отчаивались, потому что не могли еще обнять всей глубины ожидавшего их бедствия. Покуда оставался прошлогодний запас, многие, по легкомыслию, пили, ели и задавали банкеты, как будто и конца запасу не предвидится. Бригадир ходил в мундире по городу и строго-настрого приказывал, чтоб людей, имеющих «унылый вид», забирали на съезжую и представляли к нему. Дабы ободрить народ, он поручил откупщику устроить в загородной роще пикник и пустить фейерверк. Пикник сделали, фейерверк сожгли, «но хлеба через то людишкам не предоставили». Тогда бригадир призвал к себе «излюбленных» и велел им ободрять народ. Стали «излюбленные» ходить по соседям и ни одного унывающего не пропустили, чтоб не утешить.

— Мы люди привышные! — говорили одни,— мы претерпеть мо́гим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить — мы и тогда противного слова не молвим!

— Это что говорить! — прибавляли другие,— нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!

— Ты думаешь как? — ободряли третьи,— ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!

Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы* кормить будет нечем; когда окончилось жнитво, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор.

— Так как же, господин бригадир, насчет хлебца-то? похлопочешь? — спрашивали они его.

— Хлопочу, братики, хлопочу! — отвечал бригадир.

— То-то; уж ты постарайся!

В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать, потому что все, что было, приели. Придумывали, какую такую пищу стряпать, от которой была бы сытость; мешали муку с ржаной резкой, но сытости не было; пробовали, не будет ли лучше с толченой сосновой корой, но и тут настоящей сытости не добились.

— Хоть и точно, что от этой пищи словно кабы живот наедается, однако, братцы, надо так сказать: самая эта еда пустая! — говорили промеж себя глуповцы.

Базары опустели, продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдел. «Кои померли,— говорит летописец,— кои, обеспамятев, разбежались кто куда». А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдедамовый* платок. Сведавши об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадиров двор.

— А ведь это поди ты не ладно, бригадир, делаешь, что с мужней женой уводом живешь! — говорили они ему,— да и не затем ты сюда от начальства прислан, чтоб мы, сироты, за твою дурость напасти терпели!

— Потерпите, братики! Всего вдоволь будет! — вертелся бригадир.

— То-то! мы терпеть согласны! Мы люди привышные! А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай, потому не ровён час: терпим-терпим, а тоже и промеж нас глупого человека не мало найдется! Как бы чего не сталось!

Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение, но тот еще больше обеспокоил, рассказавши историю об Ахаве и Иезавели.

— И доколе не растерзали ее псы, весь народ изгиб до единого! — заключил батюшка свой рассказ.

— Очнись, батя! ужли ж Аленку собакам отдать! — испугался бригадир.

— Не к тому о сем говорю! — объяснился батюшка,— однако и о нижеследующем не излишне размыслить: паства у нас равнодушная, доходы малые, провизия дорогая... где пастырю-то взять, господин бригадир?

— Ох! за грехи меня, старого, бог попутал! — простонал бригадир и горько заплакал.

И вот, сел он опять за свое писанье; писал много, писал всюду. Рапортовал так: коли хлеба не имеется, так, по крайности, пускай хоть команда прибудет. Но ни на какое свое писание ни из какого места ответа не удостоился.

А глуповцы с каждым днем становились назойливее и назойливее.

— Что? получил, бригадир, ответ? — спрашивали они его с неслыханной наглостью.

— Не получил, братики! — отвечал бригадир.

Глуповцы смотрели ему «нелепым обычаем» в глаза и покачивали головами.

— Гунявый ты! вот что! — укоряли они его,— оттого тебе, гадёнку, и не отписывают! Не сто́ишь!

Одним словом, вопросы глуповцев делались из рук вон щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными.

— Да; убеждениями с этим народом ничего не поделаешь! — рассуждал бригадир,— тут не убеждения требуются, а одно из двух: либо хлеб, либо... команда!

Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием; но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего.

Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда: туру-туру?

Рассыпьтесь, молодцы!
За камни, за кусты!
По два в ряд!

— Нет! не слыхать!

— Словно и бог-то наш край позабыл! — молвит бригадир.

А глуповцы между тем всё жили, всё жили.

Молодые все до одного разбежались. «Бежали-бежали,— говорит летописец,— многие, ни до чего не добежав, венец приняли*, многих изловили и заключили в узы; сии почитали себя благополучными». До́ма остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтоб бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились гробами, трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе; стали опасаться, чтоб к голоду не присоединилась еще чума, и для предотвращения зла сейчас же составили комиссию, написали проект об устройстве временной больницы на десять кроватей, нащипали корпии и послали во все места по рапорту. Но, несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показал бригадиру фигу, не назвал его «гунявым», «гадёнком» и проч.

К довершению бедствия, глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся исстари крамольническому обычаю, собрались они около колокольни, стали судить да рядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока — самого древнего в целом городе человека, Евсеича. Долго кланялись и мир, и Евсеич друг другу в ноги: первый просил послужить, второй просил освободить. Наконец мир сказал:

— Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь, сколько начальников видел, а все жив состоишь!



Фердыщенко

Тогда и Евсеич не вытерпел.

— Много годов я выжил! — воскликнул он, внезапно воспламенившись.— Много начальников видел! Жив есмь!

И, сказавши это, заплакал. «Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить»,— прибавляет летописец. И сделался Евсеич ходоком, и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.

— Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем? — так начал он свое первое искушение.

— Ведомо,— ответствовал бригадир.

— И то ведомо ли тебе, от чьего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?

— Нет, не ведомо.

Первое искушение кончилось. Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся»,— говорит летописец.

Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, «но уже прежний твердый вид утерял».

— С правдой мне жить везде хорошо! — сказал он,— ежели мое дело справедливое, так ссылай ты меня хоть на край света,— мне и там с правдой будет хорошо!

— Это точно, что с правдой жить хорошо,— отвечал бригадир,— только вот я какое слово тебе молвлю: лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликáть!

— Нет! мне с правдой дома сидеть не приходится! потому она, правда-матушка, непоседлива! Ты глядишь: как бы в избу да на полати влезти, ан она, правда-матушка, из избы вон гонит... вот чтó!

— Что ж! по мне пожалуй! Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон!

И второе искушение кончилось. Опять воротился Евсеич к колокольне и вновь отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя Евсеича о правде безнуждно беседующего, убоялся его против прежнего не гораздо»,— прибавляет летописец. Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут.

Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру в третий раз и сказал:

— А ведомо ли тебе, старому псу...

Но не успел он еще порядком рот разинуть, как бригадир, в свою очередь, гаркнул:

— Одеть дурака в кандалы!

Надели на Евсеича арестантский убор и, «подобно невесте, навстречу жениха грядущей», повели, в сопровождении двух престарелых инвалидов, на съезжую. По мере того как кортеж приближался, толпы глуповцев расступались и давали дорогу.

— Небось, Евсеич, небось! — раздавалось кругом,— с правдой тебе везде будет жить хорошо!

Он же кланялся на все стороны и говорил:

— Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидел, и ежели перед кем согрешил, и ежели кому неправду сказал... все простите!

— Бог простит! — слышалось в ответ.

— И ежели перед начальством согрубил... и ежели в зачинщиках был... и в том, Христа ради, простите!

— Бог простит!

С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было, исчез без остатка, как умеют исчезать только «старатели» русской земли. Однако строгость бригадира все-таки оказала лишь временное действие. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было («нет этой нужды горше!» — говорит летописец), то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Смотрел бригадир с своего крылечка на это глуповское «бунтовское неистовство» и думал: «Вот бы теперь горошком — раз-раз-раз — и се не бе!!»* Но глуповцам приходилось не до бунтовства. Собрались они, начали тихим манером сговариваться, как бы им «о себе промыслить», но никаких новых выдумок измыслить не могли, кроме того, что опять выбрали ходока.

Новый ходок, Пахомыч, взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник. Он понял так, что теперь самое верное средство — это начать во все места просьбы писать.

— Знаю я одного человечка, — обратился он к глуповцам, — не к нему ли нам наперед поклониться сходить?

Услышав эту речь, большинство обрадовалось. Как ни велика была «нужа», но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех «стараться». Что без «старанья» не обойдешься — это одинаково сознавалось всеми; но всякому казалось не в пример удобнее, чтоб за него «старался» кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем было двинулась вперед, чтоб исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти: направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.

— Стойте, атаманы-молодцы! — сказали они, — как бы нас за этого человека бригадир не взбондировал!* Лучше спросим наперед, каков таков человек?

— А таков этот человек, что все ходы и выходы знает! Одно слово, прожженный! — успокоил Пахомыч.

Оказалось на поверку, что «человечек» — не кто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы «за трясение правой руки», каковому трясению состояла причина в напитках. Жил он где-то на «болоте» в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, которая, за свое легкомыслие, пользовалась прозвищем «козы» и «опчественной кружки». Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левою. Никаких других сведений об «человечке» не имелось, да, по-видимому, и не ощущалось в них надобности, потому что большинство уже заранее было предрасположено к безусловному доверию.

Тем не менее вопрос «охранительных людей» все-таки не прошел даром. Когда толпа окончательно двинулась по указанию Пахомыча, то несколько человек отделились и отправились прямо на бригадирский двор. Произошел раскол. Явились так называемые «отпадшие», то есть такие прозорливцы, которых задача состояла в том, чтобы оградить свои спины от потрясений, ожидающихся в будущем. «Отпадшие» пришли на бригадирский двор, но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать.

Несмотря, однако, на раскол, дело, затеянное глуповцами на «болоте», шло своим чередом.

На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Но это было раздумье мгновенное. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукою в правую и начал строчить:

ВО ВСЕ МЕСТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Просят пренесчастнейшего города Глупова всенижайшие и всебедствующие всех сословий, чины и людишки, а о чем, тому следуют пункты:

1) Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц: мрем мы все, сироты, до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, ко взысканию податей строгое, к подаянию же помощи мало поспешное. И еще доводим: которая у того бригадира, Фердыщенка, ямская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился, а более того причины не видим. А когда жила Аленка у мужа своего, Митьки-ямщика, то было в нашем городе смирно и жили мы всем изобильно. Хотя же и дальше терпеть согласны, однако опасаемся: ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумненье не ввел.

2) Более сего пунктов не имеется.

К сему прошению, вместо людишек города Глупова, за неграмотностью их, поставлено двести и тринадцать крестов.

Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту.

— Ишь поплелась! — говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль,— теперь, атаманы-молодцы, терпеть нам недолго!

И действительно, в городе вновь сделалось тихо; глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалинках и ждали. Когда же проезжие спрашивали: как дела? — то отвечали:

— Теперь наше дело верное! теперича мы, братец мой, бумагу подали!

Но проходил месяц, проходил другой — резолюции не было. А глуповцы всё жили и все что-то жевали. Надежды росли и с каждым новым днем приобретали всё больше и больше вероятия. Даже «отпадшие» начали убеждаться в неуместности своих опасений и крепко приставали, чтоб их записывали в зачинщики. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. Обманутый наружным спокойствием обывателей, он очутился в самом щекотливом положении. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего; с другой стороны, тоже чувствовал, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что́ до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустит в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит. Потом опять опустит, опять вытащит и опять засадит. И в то же время все пишет, все пишет. Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников. Бригадир роскошествовал, но глуповцы не только не устрашались, но, смеясь, говорили промеж себя: «Каку таку новую игру старый пес затеял?»

— Постой! — рассуждали они,— вот придет ужо́ бумага!

Но бумага не приходила, а бригадир плел да плел свою сеть и доплел до того, что помаленьку опутал ею весь город. Нет ничего опаснее, как корни и нити, когда примутся за них вплотную. С помощью двух инвалидов бригадир перепутал и перетаскал на съезжую почти весь город, так что не было дома, который не считал бы одного или двух злоумышленников.

— Этак он, братцы, всех нас завинит! — догадывались глуповцы, и этого опасения было достаточно, чтобы подлить масла в потухавший огонь.

Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей сто пятьдесят «крестов» очутились на площади («отпадшие» вновь благоразумно скрылись) и, дойдя до градоначальнического дома, остановились.

— Аленку! — гудела толпа.

Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Так он и поступил. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее. Замок щелкнул, и Аленка осталась снаружи с простертыми врозь руками. В таком положении застала ее толпа; застала бледную, трепещущую всем телом, почти безумную.

— Пожалейте, атаманы-молодцы, мое тело белое! — говорила Аленка ослабевшим от ужаса голосом,— ведомо вам самим, что он меня силко́м от мужа увел!

Но толпа ничего уж не слышала.

— Сказывай, ведьма! — гудела она,— через какое твое колдовство на наш город сухость нашла?

Аленка словно обеспамятела. Она металась и, как бы уверенная

в неизбежном исходе своего дела, только повторяла: «Тошно мне! ох, батюшки, тошно мне!»

Тогда свершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более пятнадцати саженей...

«И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого ло́скута. В одно мгновение ока разнесли ее приблудные голодные псы».

И вот в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали, по дороге, вдруг поднялось густое облако пыли.

— Хлеб идет! — вскрикнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости.

— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей пыльного облака...

В колонну
Соберись бегом!
Трезвону
Зададим штыком!
Скорей! скорей! скорей!





СОЛОМЕННЫЙ ГОРОД

Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира: прельстила его окаянная стрельчиха Домашка.

Стрельцы в то время хотя уж не были настоящими, допетровскими стрельцами, однако кой-что еще помнили. Угрюмые и отчасти саркастические нравы с трудом уступали усилиям начальственной цивилизации, как ни старалась последняя внушить, что галдение и крамолы ни в каком случае не могут быть терпимы в качестве «постоянных занятий». Жили стрельцы в особенной пригородной слободе, названной по их имени Стрелецкою, а на противоположном конце города распо-

ложилась слобода Пушкарская, в которой обитали опальные петровские пушкари и их потомки. Общая опала, однако ж, не соединила этих людей, и обе слободы постоянно враждовали друг с другом. Казалось, между ними существовали какие-то старые счеты, которых они не могли забыть и которые каждая сторона формулировала так: «Кабы не ваше (взаимно) тогда воровство, гуляли бы мы и о сю пору по матушке-Москве». В особенности выступали наружу эти счеты при косьбе лугов. Каждая слобода имела в своем владении особенные луга, но границы этих лугов были определены так: «В урочище, «где Пётру Долгого секли» — клин, да в дву потому ж». И стрельцы и пушкари аккуратно каждый год около петровок выходили на место; сначала, как и путные, искали какого-то оврага, какой-то речки, да еще кривой березы, которая в свое время составляла довольно ясный межевой признак, но лет тридцать тому назад была срублена; потом, ничего не сыскав, заводили речь об «воровстве» и кончали тем, что помаленьку пускали в ход косы. Побоища происходили очень серьезные, но глуповцы до того пригляделись к этому явлению, что нимало даже не формализировались им. Впоследствии, однако ж, начальство обеспокоилось и приказало косы отобрать. Тогда не стало чем косить траву, и животы помирали от бескормицы. «И не было ни стрельцам, ни пушкарям прибыли ни малыя, а только землемерам злорадство великое», — прибавляет по этому случаю летописец.

На одно из таких побоищ явился сам Фердыщенко с пожарной трубою и бочкой воды. Сначала он распоряжался довольно деятельно и даже пустил в дерущихся порядочную струю воды; но когда увидел Домашку, действовавшую в одной рубахе впереди всех, с вилами в руках, то «злопыхательное» сердце его до такой степени воспламенилось, что он мгновенно забыл и о силе данной им присяги, и о цели своего прибытия. Вместо того чтоб постепенно усиливать обливательную тактику, он преспокойно уселся на кочку и, покуривая из трубочки, завел с землемерами пикантный разговор. Таким образом, пожирая Домашку глазами, он просидел до вечера, когда сгустившиеся сумерки сами собой принудили сражающихся разойтись по домам.

Стрельчиха Домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Насколько последняя была плавна́ и женственна во всех движениях, настолько же первая — резка, решительна и мужественна. Худо умытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла собой тип бабы-халды, по́ходя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтоб украсить речь каким-пибудь непристойным движением. С утра до вечера звенел по слободе ее голос, клянущий и сулящий всякие нелегкие, и умолкал только тогда, когда зелено́ вино угомоняло ее до потери сознания. Стрельцы из молодых гонялись за нею без памяти, однако ж не враждовали из-за нее промеж собой, а все вообще называли «сахарницей» и «проезжим шляхом». Пушкари ее боялись, но втайне тоже вожделели. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: а ну, посмотрим, покоришь ли ты меня? — и всякому, конечно, делалось лестным доказать этой «прорве»,

что «покорить» ее можно. Об одеждах своих она не заботилась, как будто инстинктивно чувствовала, что сила ее не в цветных сарафанах, а в той неистощимой струе молодого бесстыжества, которое неудержимо прорывалось во всяком ее движении. Был у нее, по слухам, и муж, но так как она дома ночевала редко, а все по клевушка́м да по овинам, да и детей у нее не было, то в скором времени об этом муже совсем забыли, словно так и явилась она на свет божий прямо бабой мирскою да бабой неродúхою.

Но это-то, собственно, то есть совсем наглое забвение всяких околичностей, и привлекло «злопыхательное» сердце привередливого старца. Сладостная, тающая бесстыжесть Аленки позабылась; потребовалось возбуждение более острое, более способное действовать на засыпающие чувства старика. «Испытали мы бабу сладкую,— сказал он себе,— теперь станем испытывать бабу строптивую». И, сказавши это, командировал в Стрелецкую слободу урядника, снабдив его, для порядка, рассыльною книгой. Урядник застал Домашку вполпьяна, за огородами, около амбарушки, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как, в сущности, ей было все равно, «кто ни поп — тот батька», то после минутного колебания она начала приподниматься, чтоб последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата и отняли у урядника бабу.

— Больно лаком стал! — кричали они,— давно ли Аленку у Митьки со двора свел, а теперь, поди-кось, уж у опчества бабу отнять вздумал!

Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься; но его словно бес обуял. Как ужаленный бегал он по городу и кричал криком. Не пошли ему впрок ни уроки прошлого, ни упреки собственной совести, явственно предупреждавшей распалившегося старца, что не ему придется расплачиваться за свои грехи, а все тем же ни в чем не повинным глуповцам. Как ни отбивались стрельчата, как ни отговаривалась сама Домашка, что она «против опчества идти не смеет», но сила, по обыкновению, взяла верх. Два раза стегал бригадир заупрямившуюся бабенку, два раза она довольно стойко вытерпела незаслуженное наказание, но когда принялись в третий раз, то не выдержала...

Тогда выступили вперед пушкари и стали донимать стрельцов насмешками за то, что не сумели свою бабу от бригадировых шелепов отстоять. «Глупые были пушкари,— поясняет летописец,— того не могли понять, что, посмеиваясь над стрельцами, сами над собой посмеиваются». Но стрельцам было не до того, чтобы объяснять действия пушкарей глупостью или иною причиной. Как люди, чувствующие кровную обиду и не могущие отомстить прямому ее виновнику, они срывали свою обиду на тех, которые напоминали им о ней. Начались драки, бесчинства и увечья; ходили друг против дружки и в одиночку и стена на стену, и всего больше страдал от этой ненависти город, который очутился как раз посередке между враждующими лагерями. Но бригадир уже ничего не слушал и ни на что не обращал внимания. Он за-

брался с Домашкой на вышку градоначальнического дома и первый день своего торжества ознаменовал тем, что мертвецки напился пьян с новой жертвой своего сластолюбия...

И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город...

Пожар начался 7-го июля, накануне праздника Казанской божией матери.

До первых чисел июля все шло самым лучшим образом. Перепадали дожди, и притом такие тихие, теплые и благовременные, что все растущее с неимоверною быстротой поднималось в росте, наливалось и зрело, словно волшебством двинутое из недр земли. Но потом началась жара и сухмень, что также было весьма благоприятно, потому что наступала рабочая пора. Граждане радовались, надеялись на обильный урожай и спешили с работами.

Шестого числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал середь торга и начал раздувать по ветру своей пестрядинной рубашкой.

— Горю! горю! — кричал блаженный.

Старики, гуторившие кругом, примолкли, собрались около блаженненького и спросили:

— Где, батюшко?

Но прозорливец бормотал что-то нескладное.

— Стрела бежит, огнем палит, смрадом-дымом души́т. Увидите меч огненный, услышите голос архангельский... горю!

Больше ничего от него не могли добиться, потому что, выговоривши свою нескладицу, юродивый тотчас же скрылся (точно сквозь землю пропал), а задержать блаженного никто не посмел. Тем не меньше старики задумались.

— Про «стрелу» помянул! — говорили они, покачивая головами на Стрелецкую слободу.

Но этим дело не ограничилось. Не прошло часа, как на той же площади появилась юродивая Анисьюшка. Она несла в руках крошечный узелок и, севши посередь базара, начала ковырять пальцем ямку. И ее обступили старики.

— Что ты, Анисьюшка, делаешь? на что ямку копаешь? — спрашивали они.

— Добро хороню! — отвечала блаженная, оглядывая вопрошавших с бессмысленною улыбкой, которая с самого дня рождения словно застыла у ней на лице.

— По́што же ты хоронишь его? чай, и так от тебя, божьей старушки, никто не покорыствуется?

Но блаженная бормотала:

— Добро хороню... восемь ленточек... восемь тряпочек... восемь платочков шелковыих... восемь золотыих запоночков... восемь сережек яхонтовенькиих... восемь перстеньков изумрудныих... восьмеро бус янтарныих... восьмеро ниток бурмицкиих... девятая — лента алая... хи-хи! — засмеялась она своим тихим, младенческим смехом.

— Господи! что такое будет! — шептали испуганные старики.

Обернулись, ан бригадир, весь пьяный, смотрит на них из окна и лыка не вяжет, а Домашка-стрельчиха угольком фигуры у него на лице рисует.

— Вот-то пса несытого нелегкая принесла! — чуть-чуть было не сказали глуповцы, но бригадир словно понял их мысль и не своим голосом закричал:

— Опять за бунты принялись! не прочухались!

С тяжелою думой разбрелись глуповцы по своим домам, и не было слышно в тот день на улицах ни смеху, ни песен, ни говору.

На другой день, с утра, погода чуть-чуть закуражилась; но так как работа была спешная (зачиналось жнитво), то все отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. Оттого ли, что дело было перед праздником, или оттого, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались словно сонные. Так продолжалось до пяти часов, когда народ начал расходиться по домам, чтоб принарядиться и отправиться ко всенощной. В исходе седьмого в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствия. Не успели отзвонить третий звон, как небо заволокло сплошь и раздался такой оглушительный раскат грома, что все молящиеся вздрогнули; за первым ударом последовал второй, третий; затем послышался где-то, не очень близко, набат. Народ разом схлынул из всех церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела Пушкарская слобода, и от нее, навстречу толпе, неслась целая стена песку и пыли.

Хотя был всего девятый час в начале, но небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах сделалось совершенно темно. Сверху черная, безграничная бездна, прорезываемая молниями; кругом воздух, наполненный крутящимися атомами пыли,— все это представляло неизобразимый хаос, на грозном фоне которого выступал не менее грозный силуэт пожара. Видно было, как вдали копошатся люди, и казалось, что они бессознательно толкутся на одном месте, а не мечутся в тоске и отчаянье. Видно было, как кружатся в воздухе оторванные вихрем от крыш клочки зажженной соломы, и казалось, что перед глазами совершается какое-то фантастическое зрелище, а не горчайшее из злодеяний, которыми так обильны бессознательные силы природы. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. В одном месте пожар уже в полном разгаре; все строение обнял огонь, и с каждой минутой размеры его уменьшаются, и силуэт принимает какие-то узорчатые формы, которые вытачивает и выгрызает страшная стихия. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка, потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык; потом язык опять исчез, опять вынырнул — и взял силу. Новая точка, еще точка... сперва черная, потом ярко-оранжевая; образуется целая связь светящихся точек, и затем — настоящее море, в котором утопают все отдельные подробности, которое крутится

ный костер. Видно было, как внутри метался и бегал человек, как он рвал на себе рубашку, царапал ногтями грудь, как он вдруг останавливался и весь вытягивался, словно вдыхал. Видно было, как брызгали на него искры, словно обливали, как занялись на нем волосы, как он сначала тушил их, потом вдруг закружился на одном месте...

— Батюшки! да ведь это Архипушко! — разглядели люди.

Действительно, это был он. Среди рдеющего кругом хвороста темная, полудикая фигура его казалась просветлевшею. Людям виделся не тот нечистоплотный, блуждающий мутными глазами Архипушко, каким его обыкновенно видали, не Архипушко, преданный предсмертным корчам и, подобно всякому другому смертному, бессильно борющийся против неизбежной гибели, а словно какой-то энтузиаст, изнемогающий под бременем переполнившего его восторга.

— Отворь ворота, Архипушко! отворь, батюшко! — кричали издали люди, жалеючи.

Но Архипушко не слыхал и продолжал кружиться и кричать. Очевидно было, что у него уже начинало занимать дыхание. Наконец столбы, поддерживавшие соломенную крышу, подгорели. Целое облако пламени и дыма разом рухнуло на землю, прикрыло человека и закрутилось. Рдеющая точка на время опять превратилась в темную; все инстинктивно перекрестились...

Не успели пушкари опамятоваться от этого зрелища, как их ужаснуло новое: загудели на соборной колокольне колокола, и вдруг самый большой из них грохнулся вниз. Бросились и туда, но тут увидели, что вся слобода уже в пламени, и начали помышлять о собственном спасении. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретилась с общим смятением. Хотя очевидно было, что пламя взяло все, что могло взять, но горожанам, наблюдавшим за пожаром по ту сторону речки, казалось, что пожар все рос и зарево больше и больше рдело. Весь воздух был наполнен какою-то светящеюся массою, в которой отдельными точками кружились и вихрились головни и горящие пуки соломы. «Куда-то они полетят? На ком обрушатся?» — спрашивали себя оцепенелые горожане.

Этот вопрос произвел всеобщую панику; всяк бросился к своему двору спасать имущество. Улицы запрудились возами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скарбом. Торопливо, но без особенного шума двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. В эту минуту полил долго желанный дождь и растворил на выгоне легко уступающий чернозем.

Между тем пушкари остановились на городской площади и решились дожидаться тут до свету. Многие присели на землю и дали волю слезам. Какой-то начетчик запел: *на реках вавилонских** и, заплакав, не мог кончить; кто-то произнес имя стрельчихи Домашки, но отклика ниоткуда не последовало. О бригадире все словно позабыли, хотя некоторые и уверяли, что видели, как он слонялся с единственной пожарной трубой и порывался отстоять попов дом. Поп был тут же, вместе со всеми, и роптал.



— Беззаконновахом! — говорил он.

— Ты бы, батька, побольше богу молился да поменьше с попадьей проклажался! — в упор последовал ответ, и затем разговор по этому предмету больше не возобновлялся.

К свету пожар, действительно, стал утихать, отчасти потому, что гореть было нечему, отчасти потому, что пошел проливной дождь. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Достали откуда-то крючьев, привезли из города трубу и начали, не торопясь, растаскивать уцелевший материал и тушить остатки огня. Всякий рылся около своего дома и чего-то искал; многие в самом деле доискивались и крестились. Сгоревших людей оказалось с десяток, в том числе двое взрослых; Матренку же, о которой накануне был разговор, нашли спящею на огороде между гряд. Мало-помалу день принял свой обычный, рабочий вид. Убытки редко кем высчитывались; всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. У кого осталось нетронутым подполье, и по этому поводу выражалась радость, что уцелел квас и вчерашний каравай хлеба; у кого каким-то чудом пожар обошел клевушок, в котором была заперта буренушка.

— Ай да буренушка! умница! — хвалили кругом.

Начал и город понемногу возвращаться в свои логовища из вынужденного лагеря; но ненадолго. Около полдня у Ильи Пророка, что на болоте, опять забили в набат. Загорелся сарай той самой «Козы», у которой в предыдущем рассказе летописец познакомил нас с приказным Боголеповым. Полагают, что Боголепов, в пьяном виде, курил трубку и заронил искру в сенную труху; но так как он сам при этом случае сгорел, то догадка эта настоящим образом в известность не приведена. В сущности, пожар был не весьма значителен, и мог бы быть остановлен довольно легко, но граждане до того были измучены и потрясены происшествиями вчерашней бессонной ночи, что достаточно было слова: «пожар!», чтоб произвести между ними новую общую панику. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался.

Не станем описывать дальнейших перипетий этого бедствия, тем более что они вполне схожи с теми, которые уже приведены нами выше. Скажем только, что два дня горел город, и в это время без остатка сгорели две слободы: Болотная и Негодница, названная так потому, что там жили солдатки, промышлявшие зазорным ремеслом. Только на третий день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Подстрекаемые крамольными стрельцами, они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку.

— Долго ли нам гореть будет? — спросили они его, когда он после некоторых колебаний появился на крыльце.

Но лукавый бригадир только вертел хвостом и говорил, что ему с богом спорить не приходится.

— Мы не про то говорим, чтоб тебе с богом спорить, — настаивали

глуповцы,— куда тебе, гунявому, на́ бога лезти! а ты вот что скажи: за чьи бесчинства мы, сироты, теперича помирать должны?

Тогда бригадир вдруг засовестился. Загорелось сердце его стыдом великим, и стоял он перед глуповцами и точил слезы. («И все те его слезы были крокодиловы»,— предваряет летописец события.)

— Мало ты нас в прошлом году истязал? Мало нас от твоей глупости да от твоих шелепов смерть приняло? — продолжали глуповцы, видя, что бригадир винится.— Одумайся, старче! Оставь свою дурость!

Тогда бригадир встал перед миром на колени и начал каяться. («И было то покаяние его аспидово»*,— опять предваряет события летописец.)

— Простите меня, ради Христа, атаманы-молодцы! — говорил он, кланяясь миру в ноги,— оставляю я мою дурость на веки вечные, и сам вам тоё мою дурость с рук на руки сдам! только не наругайтесь вы над нею, ради Христа, а проводите честь честью к стрельцам в слободу!

И, сказав это, вывел Домашку к толпе. Увидели глуповцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними, та же немытая, нечесаная, как прежде была; стояла, и хмельная улыбка бродила по лицу ее. И стала им эта Домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно.

— Здорово живешь, Домаха! — гаркнули в один голос граждане.

— Здравствуйте! Ослобонять пришли? — отвечала Домашка.

— Охотой идешь в опчество?

— Со всем моим великим удовольствием!

Тогда Домашку взяли под руки и привели к тому самому анбару, откуда она была, за несколько времени перед тем, уведена силою.

Стрельцы радовались, бегали по улицам, били в тазы и в сковороды, и выкрикивали свой обычный воинственный клич:

— Посрамихом! посрамихом!

И началась тут промеж глуповцев радость и бодренье великое. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец и что отныне ничего другого не остается, как благоденствовать. С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны города глубокою канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою, вследствие недостатка питания.

Но летописец недаром предварял события намеками: слезы бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспидово. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места. Десять часов сряду макал он перо в чернильницу, и чем дальше макал, тем больше становилось оно ядовитым.

«Сего 10-го июля,— писал он,— от всех вообще глуповских граждан последовал против меня великий бунт. По случаю бывшего в слободе Негоднице великого пожара собрались ко мне, бригадиру, на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без

страха от сего уклонился. И теперь рассуждаю так: ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, да и впредь потрафлять, то как бы оное не явилось повторительным, и не гораздо к утишению способным?»

Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда: «ту-ру! ту-ру!» Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.

— Миленькие вы, миленькие! — говорил он им, — ну, чего вы, глупенькие, на меня рассердились! Ну, взял бог — ну, и опять даст бог! У него, у царя небесного, милостей много! Так-то, братики-сударики!

По временам, однако ж, на лице его показывалась какая-то сомнительная улыбка, которая не предвещала ничего доброго...

И вот, в одно прекрасное утро, по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому Глупову.

— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей таинственного облака.

Трубят в рога!
Разить врага
Пришла пора!

Глуповцы оцепенели.





ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирово легкомыслие чуть-чуть не навлекло на них новой беды.

Фердыщенко вздумал путешествовать.

Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенка находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они, даже в археологическом отношении, ничего примечательного не представляли. «Куда и с какою целью тут путешествовать?» Все благоразумные люди задавали себе этот вопрос, но удовлетворительно разрешить не

могли. Даже бригадирова экономка — и та пришла в большое смущение, когда Фердыщенко объявил ей о своем намерении.

— Ну, куда тебя слоняться несет? — говорила она, — на первую кучу наткнешься и завязнешь! Кинь ты свое озорство, Христа ради!

Но бригадир был непоколебим. Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон. «Утучнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветет скотоводство, объявятся пути сообщения», — бормотал он про себя и лелеял свой план пуще зеницы ока. «Прост он был, — поясняет летописец, — так прост, что даже после стольких бедствий простоты своей не оставил».

Очевидно, он копировал в этом случае своего патрона и благодетеля, который тоже был охотник до разъездов (по краткой описи градоначальникам, Фердыщенко обозначен так: «бывый денщик князя Потемкина») и любил, чтоб его везде чествовали.

План был начертан обширный. Сначала направиться в один угол выгона; потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец; потом очутиться в середине, потом ехать опять по прямому направлению, а затем уже куда глаза глядят. Везде принимать поздравления и дары.

— Вот смотрите! — говорил он обывателям, — как только меня завидите, так сейчас в тазы бейте, а потом зачинайте поздравлять, как будто я и невесть откуда приехал!

— Слушаем, батюшка Петр Петрович! — говорили проученные глуповцы; но про себя ду́мали: «Господи! того гляди, опять город спалит!»

Выехал он в самый Николин день, сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как ни медлили, а через полчаса поспели. Ожидавшие тут глуповцы, в числе четырех человек, ударили в тазы, а один потрясал бубном. Потом начали подносить дары: подали тёшку осетровую соленую, да севрюжку провесную среднюю, да кусок ветчины. Вышел бригадир из брички и стал спорить, что даров мало, «да и дары те не настоящие, а лежалые», и служат к умалению его чести. Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.

— Ну, теперь показывайте мне, старички, — сказал он ласково, — каковы у вас есть достопримечательности?

Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.

— Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого ско́та тут довольно было! — объяснил один из стариков.

— Хорошо бы здесь город поставить, — молвил бригадир, — и назвать его Домнославом, в честь той стрельчихи, которую вы занапрасно в то время обеспокоили!

И потом прибавил:

— Ну, а в недрах земли как?

— Об этом мы неизвестны,— отвечали глуповцы,— думаем, что много всего должно быть, однако допытываться боимся: как бы кто не увидал да начальству не пересказал!

— Боитесь?! — усмехнулся бригадир.

Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много (отбытие с этого пункта было назначено только на другой день), и зачал тужить и корить глуповцев, что нет у них ни мореходства, ни судоходства, ни горного и монетного промыслов, ни путей сообщения, ни даже статистики — ничего, чем бы начальниково сердце возвеселить. А главное, нет предприимчивости.

— Вам бы следовало корабли заводить, кофей-сахар разводить,— сказал он,— а вы что!

Переглянулись между собою старики, видят, что бригадир как будто и к слову, а как будто и не к слову свою речь говорит, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.

— На этом спасибо,— молвил бригадир,— а что про мореходство сказалось, на том простите!

Выступил тут вперед один из граждан и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесцах и гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно, сел на лужок и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.

— Ах, прах те побери! Здесь и солнце-то словно назад пятится! — сказал бригадир, с негодованием поглядывая на небесное светило, медленно выплывавшее по направлению к зениту.

Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи Домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на «деревянного дела пушечку», угрожал всех своих амфитрионов* перепалить. Тогда за хозяев вступился денщик, Василий Черноступ, который хотя тоже был пьян, но не гораздо.

— Пустое ты дело затеял! — сразу оборвал он бригадира,— кабы не я, твой приставник,— слова бы тебе, гунявому, не пикнуть, а не то чтоб за экое орудие взяться!

Время между тем продолжало тянуться с безнадежною вялостью. Обедали-обедали, пили-пили, а солнце все высоко стоит. Начали спать. Спали-спали, весь хмель переспали, наконец начали вставать.

— Никак, солнце-то высоко взошло! — сказал бригадир, просыпаясь и принимая запад за восток.

Но ошибка была столь очевидна, что даже он понял ее. Послали одного из стариков в Глупов за квасом, думая ожиданием сократить время; но старик оборотил духом и принес на голове целый жбан, не пролив ни капли. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли плошку и осветили навозную кучу. Плошка коптела, мигала и распространяла смрад.

— Слава богу! не видали, как и день кончился! — сказал бригадир и, завернувшись в шинель, улегся спать во второй раз.

На другой день поехали наперерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха. Стали его спрашивать, кто он таков и зачем по пустым местам шатается, и нет ли в том шатании умысла. Пастух сначала оробел, но потом во всем повинился. Тогда его обыскали и нашли хлеба ломоть небольшой да лоскуток от онуч.

— Сказывай, в чем был твой умысел? — допрашивал бригадир с пристрастием.

Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были, для дальнейших расспросов, взять его с собою и в таком виде приехали в другой угол выгона.

Тут тоже в тазы звонили и дары дарили, но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха, и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. Вечером опять зажгли плошку и начадили так, что у всех разболелись головы.

На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку, но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам, и так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным. Одевшись в лучшие одежды, они выстроились в каре и ожидали своего начальника. Стучали в тазы, потрясали бубнами и даже играла одна скрипка. В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.

Плакали тут все, плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха (сказывали, что она была внучкой побочной дочери Марфы Посадницы).

— О чем ты, старушка, плачешь? — спросил бригадир, ласково трепля ее по плечу.

— Ох ты, наш батюшка! как нам не плакать-то, кормилец ты наш! век мы свой всё-то плачем... всё плачем! — всхлипывала в ответ старуха.

В полдень поставили столы и стали обедать; но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил три чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место. Затем, съевши первую перемену (были щи с солониной), он опять выпил два стакана и начал говорить, что ему нужно бежать.

— Ну куда тебе без ума бежать? — урезонивали его почетные глуповцы, сидевшие по сторонам.

— Куда глаза глядят! — бормотал он, очевидно припоминая эти слова из своего маршрута.

После второй перемены (был поросенок в сметане) ему сделалось дурно; однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустою. После этого ему перекосило рот.

Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала и вдруг замерла... Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест.

Кончилось...

Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. «Была ли в сих вразумлениях необходимость?» — спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.

На некоторое время глуповцы погрузились в ожидание. Они боялись, чтоб их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира и чтоб опять не раздалось неведомо откуда: «туру-туру!»

Встаньте гуще!
Чтобы пуще
Побеждать врага!

К счастию, однако ж, на этот раз опасения оказались неосновательными. Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, а в том числе и Фердыщенку. Это был Василиск Семенович Бородавкин, с которого, собственно, и начинается золотой век Глупова. Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаями, комет не появлялось, а денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их... Потому что это были ассигнации.





ВОЙНЫ ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ

Василиск Семенович Бородавкин, сменивший бригадира Фердыщенку, представлял совершенную противоположность своему предместнику. Насколько последний был распущен и рыхл, настолько же первый поражал расторопностью и какою-то неслыханной административной въедчивостью, которая с особенной энергией проявлялась в вопросах, касавшихся выеденного яйца. Постоянно застегнутый на все пуговицы и имея наготове фуражку и перчатки, он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днем он, как муха, мелькал по городу, наблюдая, чтоб обыватели имели бодрый и веселый вид; ночью —

тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставал врасплох.

Кричал он во всякое время, и кричал необыкновенно. «Столько вмещал он в себе крику,— говорит по этому поводу летописец,— что от оного многие глуповцы и за себя, и за детей навсегда испугались». Свидетельство замечательное и находящее себе подтверждение в том, что впоследствии начальство вынуждено было дать глуповцам разные льготы, именно «испуга их ради». Аппетит имел хороший, но насыщался с поспешностью и при этом роптал. Даже спал только одним глазом, что приводило в немалое смущение его жену, которая, несмотря на двадцатипятилетнее сожительство, не могла без содрогания видеть его другое, недремлющее, совершенно круглое и любопытно на нее устремленное око. Когда же совсем нечего было делать, то есть не предстояло надобности ни мелькать, ни заставать врасплох (в жизни самых расторопных администраторов встречаются такие тяжкие минуты), то он или издавал законы, или маршировал по кабинету, наблюдая за игрой сапожного носка, или возобновлял в своей памяти военные сигналы.

Была и еще одна особенность за Бородавкиным: он был сочинитель. За десять лет до прибытия в Глупов он начал писать проект «о вящем* армии и флотов по всему лицу распространении, дабы через то возвращение (sic) древней Византии под сень российския державы уповательным учинить», и каждый день прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом составилась довольно объемистая тетрадь, заключавшая в себе три тысячи шестьсот пятьдесят две строчки (два года было високосных), на которую он не без гордости указывал посетителям, прибавляя при том:

— Вот, государь мой, сколь далеко я виды свои простираю!

Вообще, политическая мечтательность была в то время в большом ходу, а потому и Бородавкин не избегнул общих веяний времени. Очень часто видали глуповцы, как он, сидя на балконе градоначальнического дома, взирал оттуда, с полными слез глазами, на синеющие вдалеке византийские твердыни. Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания. Казалось, стоило только кликнуть клич... И Бородавкин ждал этого клича, ждал с страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования.

— Сперва с Византией покончим-с,— мечтал он,— а потом-с...

На Драву, Мораву, на дальнюю Саву,
На тихий и синий Дунай...

Д-да-с!

Сказать ли всю истину: по секрету, он даже заготовил на имя известного нашего географа, К. И. Арсеньева, довольно странную резолюцию: «Предоставляется вашему благородию,— писал он,— на будущее время известную вам Византию во всех учебниках географии



числить тако: Константинополь, бывшая Византия, а ныне губернский город Екатериноград, стоит при излиянии Черного моря в древнюю Пропонтиду и под сень Российской державы приобретен в 17... году, с распространением на оный единства касс (единство сие в том состоит, что византийские деньги в столичном городе Санктпетербурге употребление себе находить должны). По обширности своей город сей, в административном отношении, находится в ведении четырех градоначальников, кои состоят между собой в непрерывном пререкании. Производит торговлю грецкими орехами и имеет один мыловаренный и два кожевенных завода». Но, увы! дни проходили за днями, мечты Бородавкина росли, а клича все не было. Проходили через Глупов войска пешие, проходили войска конные.

— Куда, голубчики? — с волнением спрашивал Бородавкин солдатиков.

Но солдатики в трубы трубили, песни пели, носками сапогов играли, пыль столбом па улицах поднимали, и всё проходили, всё проходили.

— Валом валит солдат! — говорили глуповцы, и казалось им, что это люди какие-то особенные, что они самой природой созданы для того, чтоб ходить без конца, ходить по всем направлениям. Что они спускаются с одной плоской возвышенности для того, чтобы лезть на другую плоскую возвышенность, переходят через один мост для того, чтобы перейти вслед за тем через другой мост. И еще мост, и еще плоская возвышенность, и еще, и еще...

В этой крайности Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущпыми потребностями края. В числе этих потребностей первое место занимала, конечно, цивилизация, или, как он сам определял это слово, «наука о том, колико каждому Российской Империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит».

Полный этих смутных мечтаний, он явился в Глупов и прежде всего подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницею прошли перед ним: и Клементий, и Великанов, и Ламврокакис, и Баклан, и маркиз де Санглот, и Фердыщенко, но что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали — вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд — пе что иное, как сонное мечтапие, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галденье захмелевшей толпы... Вот вышла из мрака одна тень, хлопнула: раз-раз! — и исчезла певедомо куда; смотришь, на место ее выступает уж другая тень, и тоже хлопает как попало, и исчезает... «Раззорю!», «не потерплю!» слышится со всех сторон, а что разорю, чего не потерплю — того разобрать невозможно. Рад бы посторониться, прижаться к углу, но ни посторониться, ни прижаться нельзя, потому что из всякого угла раздается все то же «раззорю!», которое гонит укрывающегося в другой угол и там, в свою очередь, опять

настигает его. Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее. Один только штатский советник Двоекуров с выгодою выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало восемнадцатого столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе Бородавкин за образец.

Двоекуров совершил очень много. Он *вымостил улицы: Дворянскую и Большую, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове академии. Но главная его* заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Это последнее действие до того поразило Бородавкина, что он тотчас же возымел дерзкую мысль поступить точно таким же образом и относительно прованского масла. Начались справки, какие меры были употреблены Двоекуровым, чтобы достигнуть успеха в затеянном деле, но так как архивные дела, по обыкновению, оказались сгоревшими (а быть может, и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться изустными преданиями и рассказами.

— Много у нас всякого шуму было! — рассказывали старожилы, — и через солдат секли, и запросто секли... Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли!

— Стало быть, были бунты? — спрашивал Бородавкин.

— Мало ли было бунтов! У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут — так уж и знаешь, что бунт!

Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый и, однажды задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами, то есть и усмирял, и расточал без остатка; но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он, в течение нескольких лет сряду, непрерывно и неустанно делал сепаратные* набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя поодиночке. Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, выступят вперед на сходках так называемые «старики» (должно быть, «из молодых да ранние»). Каким образом они нарастали — это была тайна, но тайну эту отлично постиг Двоекуров, и потому розог не жалел. Как истинный администратор, он различал два сорта сечения: сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением, и гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением, тогда как все предшественники секли как попало, и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, воздействуя разумно и беспрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли.

«И процвела оная весь, яко крин сельный*, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы Российской и получая взамен оного драгоценного металлы и меха».

Но в 1770 году Двоекуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они нимало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве: «Много лет выводил он (Двоекуров) хитроумное сие здание, а о том не догадался, что строит на песце». Но летописец, очевидно, и в свою очередь, забывает, что в том-то собственно и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на «песце» строить, а завтра, когда оно рухнет, зачинать новое здание на том же «песце» воздвигать.

Таким образом, оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на «песце» была доведена в нем почти до исступления. Дни и ночи он все выдумывал, что́ бы такое выстроить, чтобы оно вдруг, по выстройке, грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так думал, и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей, остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника.

— Руки у меня связаны,— горько жаловался он глуповцам,— а то узнали бы вы у меня, где раки зимуют!

Тут же кстати он доведался, что глуповцы, по упущению, совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным; в наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем: дотоле не класть оружия, доколе в городе останется хоть один недоумевающий.

Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.

— Что хошь с нами делай! — говорили одни,— хошь — на куски режь; хошь — с кашей ешь, а мы не согласны!

— С нас, брат, не что возьмешь! — говорили другие,— мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!

И упорно стояли при этом на коленах.

Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает.

Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.

— Сломлю я эту энергию! — говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.

А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу,— как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут — как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.

И вдруг затрубила труба, и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих...

Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием «войн за просвещение».

Первая война «за просвещение» имела, как уже сказано выше, поводом горчицу, и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов.

Тем не менее Бородавкин сразу палить не решился; он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно, и с этою целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще, и о горчице как о подспорье, в особенности; но оттого ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или оттого, что он, по обычаю своему, не говорил, а кричал,— как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени.

«Было чего испугаться глуповцам,— говорит по этому случаю летописец,— стоит перед ними человек роста невеликого, из себя не дородный, слов не говорит, а только криком кричит».

— Поняли, старички? — обратился он к обеспамятевшим обывателям.

Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Натурально, это его пуще взорвало.

— Что я... на смерть, что ли, вас веду... ммерррзавцы!

Но едва раздался из уст его новый раскат, как глуповцы стремительно повскакали с коленей и разбежались во все стороны.

— Раззорю! — закричал он им вдогонку.

Весь этот день Бородавкин скорбел. Молча расхаживал он по залам градоначальнического дома и только изредка тихо произносил: «Подлецы!»

Более всего заботила его Стрелецкая слобода, которая и при предшественниках его отличалась самым непреоборимым упорством. Стрельцы довели энергию бездействия почти до утонченности. Они не только не являлись на сходки по приглашениям Бородавкина, но, завидев его приближение, куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались. Некого было убеждать, не у кого было ни о чем спросить. Слышалось, что кто-то где-то дрожит, но где дрожит и как дрожит — разыскать невозможно.

Между тем не могло быть сомнения, что в Стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию «Бородавкин» на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву *р*, то выйдет 666, то есть князь тьмы. Ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былие, выросшее из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою,— оттого-де и пошла в мир «горчица». Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопениям и толкованиям, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице и, дабы навсегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали.

Бородавкин чувствовал, как сердце его, капля по капле, переполняется горечью. Он не ел, не пил, а только произносил сквернословия, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простою и ясною, что неприятие ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей.

— Руки у меня связаны! — повторял он, задумчиво покусывая темный ус свой,— а то бы я показал вам, где раки зимуют!

Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии* есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал втихомолку устав «о нестеснении градоначальников законами». Первый и единственный параграф этого устава гласил так: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».

Однако ж покуда устав еще утвержден не был, а следовательно, и от стеснений уклониться было невозможно. Через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия («об оных, стыда ради, умалчиваю», оговаривается летописец), как глуповцы опять рассыпались, не успев даже встать на колени. Тогда только Бородавкин решился пустить в ход настоящую цивилизацию.

Ранним утром выступил он в поход и дал делу такой вид, как будто совершает простой военный променад*. Утро было ясное, свежее,


Бородавкинъ

чуть-чуть морозное (дело происходило в половине сентября). Солнце играло на касках и ружьях солдат; крыши домов и улицы были подернуты легким слоем инея; везде топились печи, и из окон каждого дома виднелось веселое пламя.

Хотя главною целью похода была Стрелецкая слобода, но Бородавкин хитрил. Он не пошел ни прямо, ни направо, ни налево, а стал маневрировать. Глуповцы высыпали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя.

— Слава те господи! кажется, забыл про горчицу! — говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню.

А Бородавкин все маневрировал да маневрировал и около полдён достиг до слободы Негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе роздали по чарке водки и приказали петь песни, а ввечеру взяли в плен одну мещанскую девицу, отлучившуюся слишком далеко от ворот своего дома.

На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать «языка». Делали все это серьезно, не моргнув. Привели какого-то еврея и хотели сначала повесить его, но потом вспомнили, что он совсем не для того требовался, и простили. Еврей, положив руку под стегно*, свидетельствовал, что надо идти сначала на слободу Навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится урочище, называемое «Дунькиным вра́гом». Оттуда же, миновав три повёртки, идти куда глаза глядят.

Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди пройти и четверти версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба — ничего не было видно. Потребовал Бородавкин к себе вероломного жида, чтоб повесить, но его уж и след простыл (впоследствии оказалось, что он бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию* на железную дорогу). Плутали таким образом среди белого дня довольно продолжительное время, и сделалось с людьми словно затмение, потому что Навозная слобода стояла въяве у всех на глазах, а никто ее не видал. Наконец спустились на землю действительные сумерки, и кто-то крикнул: грабят! Закричал какой-то солдатик спьяна, а люди замешались и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились не глядя, а как попало. Много тут было раненых, много и убиенных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои с своими же и что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы Навозной слободы. Положили: убиенных похоронив, заложить на месте битвы монумент, а самый день, в который она происходила, почтить наименованием «слепорода» и в воспоминание об нем учредить ежегодное празднество с свистопляскою.

На третий день сделали привал в слободе Навозной; но тут, наученные опытом, уже потребовали заложников. Затем, переловив обывательских кур, устроили поминки по убиенным. Странно показалось слобожанам это последнее обстоятельство, что вот человек игру играет, а в то же время и кур ловит; но так как Бородавкин секрета своего не разглашал, то подумали, что так следует «по игре», и успокоились.

Но когда Бородавкин, после поминовения, приказал солдатикам вытоптать прилегавшее к слободе озимое поле, тогда обыватели призадумались.

— Ужли, братцы, всамделе такая игра есть? — говорили они промеж себя, но так тихо, что даже Бородавкин, зорко следивший за направлением умов, и тот ничего не расслышал.

На четвертый день, ни свет ни заря, отправились к «Дунькиному вра́гу», боясь опоздать, потому что переход предстоял длинный и утомительный. Долго шли, и дорогой беспрестанно спрашивали у заложников: скоро ли? Велико было всеобщее изумление, когда вдруг, посреди чистого поля, аманаты* крикнули: здеся! И было, впрочем, чему изумиться: кругом не было никакого признака поселенья; далеко-далеко раскинулось голое место, и только вдали углублялся глубокий провал, в который, по преданию, скатилась некогда пушкарская девица Дунька, спешившая, в нетрезвом виде, на любовное свидание.

— Где ж слобода? — спрашивал Бородавкин у аманатов.

— Нету здесь слободы! — ответствовали аманаты, — была слобода, везде прежде слободы были, да солдаты все уничтожили!

Но словам этим не поверили, и решили: сечь аманатов до тех пор, пока не укажут, где слобода. Но странное дело! чем больше секли, тем слабее становилась уверенность отыскать желанную слободу! Это было до того неожиданно, что Бородавкин растерзал на себе мундир и, подняв правую руку к небесам, погрозил пальцем и сказал:

— Я вас!

Положение было неловкое; наступила темень, сделалось холодно и сыро, и в поле показались волки. Бородавкин ощутил припадок благоразумия и издал приказ: всю ночь не спать и дрожать.

На пятый день отправились обратно в Навозную слободу и по дороге вытоптали другое озимое поле. Шли целый день и только к вечеру, утомленные и проголодавшиеся, достигли слободы. Но там уже никого не застали. Жители, издали завидев приближающееся войско, разбежались, угнали весь скот и окопались в неприступной позиции. Пришлось брать с бою эту позицию, но так как порох был не настоящий, то, как ни палили, никакого вреда, кроме нестерпимого смрада, сделать не могли.

На шестой день Бородавкин хотел было продолжать бомбардировку, но уже заметил измену. Аманатов ночью выпустили и многих настоящих солдат уволили вчистую и заменили оловянными солдатиками. Когда он стал спрашивать, на каком основании освободили заложников, ему сослались на какой-то регламент, в котором будто бы сказано: «Аманата сечь, а будет который уж высечен, и такого более суток отнюдь не держать, а выпущать домой на излечение». Волею-неволей Бородавкин должен был согласиться, что поступлено правильно, но тут же вспомнил про свой проект «о нестеснении градоначальников законами» и горько заплакал.

— А это что? — спросил он, указывая на оловянных солдатиков.

— Для легости, ваше благородие! — отвечали ему, — провианту не просит, а маршировку и он исполнять может!

Пришлось согласиться и с этим. Заперся Бородавкин в избе и начал держать сам с собою военный совет. Хотелось ему наказать «навозных» за их наглость, но, с другой стороны, припоминалась осада Трои, которая длилась целых десять лет, несмотря на то что в числе осаждавших были Ахиллес и Агамемнон. Не лишения страшили его, не тоска о разлуке с милой супругой печалила, а то, что в течение этих десяти лет может быть замечено его отсутствие из Глупова, и притом без особенной для него выгоды. Вспомнился ему по этому поводу урок из истории, слышанный в детстве, и сильно его взволновал. «Несмотря на добродушие Менелая,— говорил учитель истории,— никогда спартанцы не были столь счастливы, как во время осады Трои; ибо хотя многие бумаги оставались неподписанными, но зато многие же спины пребыли невыстеганными, и второе лишение с лихвою вознаградило за первое»...

К довершению всего, полились затяжные осенние дожди, угрожая испортить пути сообщения и прекратить подвоз продовольствия.

— И на кой черт я не пошел прямо на стрельцов! — с горечью восклицал Бородавкин, глядя из окна на увеличивавшиеся с минуты на минуту лужи,— в полчаса был бы уж там!

В первый раз он понял, что многоумие в некоторых случаях равносильно недоумию, и результатом этого сознания было решение: бить отбой, а из оловянных солдатиков образовать благонадежный резерв.

На седьмой день выступили чуть свет, но так как ночью дорогу размыло, то люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе.

Предстояло атаковать на пути гору Свистуху; скомандовали: В атаку! — передние ряды отважно бросились вперед, но оловянные солдатики за ними не последовали. И так как на лицах их, «ради поспешения», черты были нанесены лишь в виде абриса*, и притом в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются. А от иронии до крамолы — один шаг.

— Трусы! — процедил сквозь зубы Бородавкин, но явно сказать это затруднился и вынужден был отступить от горы с уроном.

Пошли в обход, но здесь наткнулись на болото, которого никто не подозревал. Посмотрел Бородавкин на геометрический план выгона — везде все пашня да по мокрому месту покос, да кустарнику мелкого часть, да камню часть, а болота нет, да и полно.

— Нет тут болота! врете вы, подлецы! марш! — скомандовал Бородавкин и встал на кочку, чтоб ближе наблюсти за переправой.

Полезли люди в трясину и сразу потопили всю артиллерию. Однако сами кое-как выкарабкались, выпачкавшись сильно в грязи. Выпачкался и Бородавкин, но ему было уж не до того. Взглянул он на погибшую артиллерию и, увидев, что пушки, до половины погруженные, стоят, обратив жерла к небу и как бы угрожая последнему расстрелянием, начал тужить и скорбеть.

— Сколько лет копил, берёг, холил! — роптал он,— что я теперь делать буду! как без пушек буду править!

Войско было окончательно деморализировано*. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная равнина и опять без всякого признака жилья. По местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича; все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация (впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш-Кильдибаев), но с той поры прошло много лет, и ни один градоначальник не позаботился о восстановлении ее. По полю пробегали какие-то странные тени; до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, вроде того, что изображается в 3-м акте «Руслана и Людмилы», когда на сцену вбегает испуганный Фарлаф. Хотя Бородавкин был храбрее Фарлафа, но и он не мог не содрогнуться при мысли, что вот-вот навстречу выйдет злобная Наина...

Только на осьмой день, около полдён, измученная команда увидела стрелецкие высоты и радостно затрубила в рога. Бородавкин вспомнил, что великий князь Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда посылал сказать: иду на вы! — и, руководствуясь этим примером, командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием.

На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступало в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Поп был древний и скорее способный поселять уныние, нежели вливать в душу храбрость.

— Где жители? — спрашивал Бородавкин, сверкая на попа глазами.

— Сейчас тут были! — шамкал губами поп.

— Как сейчас? куда же они бежали?

— Куда бежать? зачем от своих домов бежать? Чай, здесь где-нибудь от тебя схоронились!

Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами землю. Была минута, когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать.

— Надо было зимой поход объявить! — раскаивался он в сердце своем, — тогда бы они от меня не спрятались.

— Эй! кто тут! выходи! — крикнул он таким голосом, что оловянные солдатики — и те дрогнули.

Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, с которою они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника.

— Где они, бестии, вздыхают? — неистовствовал он, безнадежно озираясь по сторонам и видимо теряя всякую сообразительность, — сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, и привести ко мне!

Бросились искать, но как ни шарили, а никого не нашли. Сам Бородавкин ходил по улице, заглядывая во все щели, — нет никого!

Это до того его озадачило, что самые несообразные мысли вдруг целым потоком хлынули в его голову.

«Ежели я теперича их огнем раззорю... нет, лучше голодом поморю!..» — думал он, переходя от одной несообразности к другой.

И вдруг он остановился, как пораженный, перед оловянными солдатиками.

С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно, в глазах у всех, солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали шевелиться; губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявляли намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении.

— Что скажете, служивые? — спросил Бородавкин.

— Избы... избы... ломать! — невнятно, но как-то мрачно произнесли оловянные солдатики.

Средство было отыскано.

Начали с крайней избы. С гиком бросились «оловянные» на крышу и мгновенно остервенились. Полетели вниз вязки соломы, жерди, деревянные спицы. Взвились вверх целые облака пыли.

— Тише! тише! — кричал Бородавкин, вдруг заслышав около себя какой-то стон.

Стонала вся слобода. Это был неясный, но сплошной гул, в котором нельзя было различить ни одного отдельного звука, но который всей своей массой представлял едва сдерживаемую боль сердца.

— Кто тут? выходи! — опять крикнул Бородавкин во всю мочь.

Слобода смолкла, но никто не выходил. «Чаяли стрельцы, — говорит летописец, — что новое сие изобретение (то есть усмирение посредством ломки домов), подобно всем прочим, одно мечтание представляет, но недолго пришлось им в сей сладкой надежде себя утешать».

— Катай! — произнес Бородавкин твердо.

Раздался треск и грохот; бревна, одно за другим, отделялись от сруба, и, по мере того как они падали на землю, стон возобновлялся и возрастал. Через несколько минут крайней избы как не бывало, и «оловянные», ожесточившись, уже брали приступом вторую. Но когда спрятавшиеся стрельцы, после короткого перерыва, вновь услышали удары топора, продолжавшего свое разрушительное дело, то сердца их дрогнули. Выползли они все вдруг, и старые и малые, и мужеск и женск пол, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени. Бородавкин сначала было разбежался, но потом вспомнил слова инструкции: «при усмирениях не столько стараться об истреблении, сколько о вразумлении» — и притих. Он понял, что час триумфа уже наступил, и что триумф едва ли не будет полнее, если в результате не окажется ни расквашенных носов, ни свороченных на сторону скул.

— Принимаете ли горчицу? — внятно спросил он, стараясь, по возможности, устранить из голоса угрожающие ноты.

Толпа безмолвно поклонилась до земли.

— Принимаете ли, спрашиваю я вас? — повторил он, начиная уже закипать.

— Принимаем! принимаем! — тихо гудела, словно шипела, толпа.

— Хорошо. Теперь сказывайте мне, кто промеж вас память любезнейшей моей родительницы в стихах оскорбил?

Стрельцы позамялись; неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты жизни был их утешителем; однако, после минутного колебания, решились исполнить и это требование начальства.

— Выходи, Федька! небось! выходи! — раздавалось в толпе.

Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивались, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно, как полотно, и зубы тряслись.

— Так это ты? — захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил: — Так это ты?

Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу или наказать иным образом. Наконец придумано было наказание, так сказать, смешанное.

— Слушай! — сказал он, слегка поправив Федькину челюсть,— так как ты память любезнейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах прославлять, и стихи те ко мне приносить!

С этим словом он приказал дать отбой.

Бунт кончился; невежество было подавлено, и на место его водворено просвещение. Через полчаса Бородавкин, обремененный добычей, въезжал с триумфом в город, влача за собой множество пленников и заложников. И так как в числе их оказались некоторые военачальники и другие первых трех классов особы, то он приказал обращаться с ними ласково (выколов, однако, для верности, глаза), а прочих сослать на каторгу.

В тот же вечер, запершись в кабинете, Бородавкин писал в своем журнале следующую отметку:

«Сего 17-го сентября, после трудного, но славного девятидневного похода, совершилось всерадостнейшее и вожделеннейшее событие. Горчица утверждена повсеместно и навсегда, причем не было произведено в расход ни единой капли крови».

«Кроме той,— иронически прибавляет летописец,— которая была пролита у околицы Навозной слободы и в память которой доднесь празднуется торжество, именуемое свистопляскою»...

Очень может статься, что многое из рассказанного выше покажется читателю чересчур фантастическим. Какая надобность была Бородавкину делать девятидневный поход, когда Стрелецкая слобода была у него под боком и он мог прибыть туда через полчаса? Как мог он

заблудиться на городском выгоне, который ему, как градоначальнику, должен быть вполне известен? Возможно ли поверить истории об оловянных солдатиках, которые будто бы не только маршировали, но под конец даже налились кровью?

Понимая всю важность этих вопросов, издатель настоящей летописи считает возможным ответить на них нижеследующее: история города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще. Но этого мало. Бывают чудеса, в которых, по внимательном рассмотрении, можно подметить довольно яркое реальное основание. Все мы знаем предание о Бабе-яге-костяной-ноге, которая ездила в ступе и погоняла помелом, и относим эти поездки к числу чудес, созданных народною фантазией. Но никто не задается вопросом: почему же народная фантазия произвела именно этот, а не иной плод? Если б исследователи нашей старины обратили на этот предмет должное внимание, то можно быть заранее уверенным, что открылось бы многое, что́ доселе находится под спудом тайны. Так, например, наверное обнаружилось бы, что происхождение этой легенды чисто административное и что Баба-яга была не кто иное, как градоправительница, или, пожалуй, посадница, которая, для возбуждения в обывателях спасительного страха, именно этим способом путешествовала по вверенному ей краю, причем забирала встречавшихся по дороге Иванушек и, возвратившись домой, восклицала: «Покатаюся, поваляюся, Иванушкина мясца поевши».

Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убедить читателя, что летописец находится на почве далеко не фантастической и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный. Конечно, с первого взгляда может показаться странным, что Бородавкин девять дней сряду кружит по выгону; но не должно забывать, во-первых, что ему незачем было торопиться, так как можно было заранее предсказать, что предприятие его во всяком случае окончится успехом, и, во-вторых, что всякий администратор охотно прибегает к эволюциям, дабы поразить воображение обывателей. Если б можно было представить себе так называемое исправление на теле без тех предварительных обрядов, которые ему предшествуют, как-то: снимания одежды, увещаний со стороны лица исправляющего и испрошения прощения со стороны лица исправляемого, что бы от него осталось? Одна пустая формальность, смысл которой был бы понятен лишь для того, кто ее испытывает! Точно то же следует сказать и о всяком походе, предпринимается ли он с целью покорения царств или просто с целью взыскания недоимок. Отнимите от него «эволюции» — что останется?

Нет, конечно, сомнения, что Бородавкин мог избежать многих весьма важных ошибок. Так, например, эпизод, которому летописец присвоил название «слепорода»,— из рук вон плох. Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв и что если мы очистим остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только бо́льшая

или меньшая порция «убиенных». Кто эти «убиенные»? Правы они или виноваты и насколько? Каким образом они очутились в звании «убиенных»? — все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки.

Стало быть, остается неочищенным лишь вопрос об оловянных солдатиках; но и его летописец не оставляет без разъяснения. «Очень часто мы замечаем,— говорит он,— что предметы, по-видимому, совершенно неодушевленные (камню подобные), начинают ощущать вожделение, как только приходят в соприкосновение с зрелищами, неодушевленности их доступными». И в пример приводит какого-то ближнего помещика, который, будучи разбит параличом, десять лет лежал недвижим в кресле, но и за всем тем радостно мычал, когда ему приносили оброк...

Всех войн «за просвещение» было четыре. Одна из них описана выше; из остальных трех первая имела целью разъяснить глуповцам пользу от устройства под домами каменных фундаментов; вторая возникла вследствие отказа обывателей разводить персидскую ромашку, и третья, наконец, имела поводом разнесшийся слух об учреждении в Глупове академии. Вообще видно, что Бородавкин был утопист, и что если б он пожил подольше, то наверное кончил бы тем, что или был бы сослан за вольномыслие в Сибирь, или выстроил бы в Глупове фаланстéр*.

Подробно описывать этот ряд блестящих подвигов нет никакой надобности, но нелишнее будет указать здесь на общий характер их.

В дальнейших походах со стороны Бородавкина замечается весьма значительный шаг вперед. Он с большею тщательностью подготовляет материалы для возмущений и с большею быстротою подавляет их. Самый трудный поход, имевший поводом слух о заведении академии, продолжался лишь два дня; остальные — не более нескольких часов. Обыкновенно Бородавкин, напившись утром чаю, кликал клич; сбегались оловянные солдатики, мгновенно наливались кровью и во весь дух бежали до места. К обеду Бородавкин возвращался домой и пел благодарственную песнь. Таким образом он достиг, наконец, того, что через несколько лет ни один глуповец не мог указать на теле своем места, которое не было бы высечено.

Со стороны обывателей, как и прежде, царствовало полнейшее недоразумение. Из рассказов летописца видно, что они и ради были не бунтовать, но никак не могли устроить это, ибо не знали, в чем заключается бунт. И в самом деле, Бородавкин опутывал их чрезвычайно ловко. Обыкновенно он ничего порядком не разъяснял, а делал известными свои желания посредством прокламаций, которые секретно, по ночам, наклеивались на угловых домах всех улиц. Прокламации писались в духе нынешних объявлений от магазина Кача, причем крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а все существенное изображалось самым мелким шрифтом. Сверх того,

допускалось употребление латинских названий; так, например, персидская ромашка называлась не персидской ромашкой, а «Pyrethrum roseum», иначе слюногон, слюногонка, жгунец, принадлежит к семейству «Compositas» и т. д. Из этого выходило следующее: грамотеи, которым обыкновенно поручалось чтение прокламаций, выкрикивали только те слова, которые были напечатаны прописными буквами, а прочие скрадывали. Как, например (см. прокламацию о персидской ромашке):

ИЗВЕСТНО

какое опустошение
производят клопы, блохи и т. д.

НАКОНЕЦ НАШЛИ!!!

Предприимчивые люди вывезли
с Дальнего Востока, и т. д.

Из всех этих слов народ понимал только: «известно» и «наконец нашли». И когда грамотеи выкрикивали эти слова, то народ снимал шапки, вздыхал и крестился. Ясно, что в этом не только не было бунта, а скорее исполнение предначертаний начальства. Народ, доведенный до вздыхания,— какого еще идеала можно требовать!

Стало быть, все дело заключалось в недоразумении, и это оказывается тем достовернее, что глуповцы даже и до сего дня не могут разъяснить значение слова «академия», хотя его-то именно и напечатал Бородавкин крупным шрифтом (см. в полном собрании прокламаций № 1089). Мало того: летописец доказывает, что глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили, и не получили именно по вине самого градоначальника. Они нередко ходили всем обществом на градоначальнический двор и говорили Бородавкину:

— Развяжи ты нас, сделай милость! укажи нам конец!

— Прочь, буяны! — обыкновенно отвечал Бородавкин.

— Какие мы буяны! знать, не видывал ты, какие буяны бывают! Сделай милость, скажи!

Но Бородавкин молчал. Почему он молчал? потому ли, что считал непонимание глуповцев не более как уловкой, скрывавшей за собой упорное противодействие, или потому, что хотел сделать обывателям сюрприз,— достоверно определить нельзя. Но должно думать, что тут примешивалось отчасти и то и другое. Никакому администратору, ясно понимающему пользу предпринимаемой меры, никогда не кажется, чтоб эта польза могла быть для кого-нибудь неясною или сомнительною. С другой стороны, всякий администратор непременно фаталист и твердо верует, что, продолжая свой административный бег, он в конце концов все-таки очутится лицом к лицу с человеческим телом.

Следовательно, если начать предотвращать эту неизбежную развязку предварительными разглагольствиями, то не значит ли это еще больше растравлять ее и придавать ей более ожесточенный характер? Наконец, всякий администратор добивается, чтобы к нему питали доверие, а какой наилучший способ выразить это доверие, как не беспрекословное исполнение того, чего не понимаешь?

Как бы то ни было, но глуповцы всегда узнавали о предмете похода лишь по окончании его.

Но как ни казались блестящими приобретенные Бородавкиным результаты, в существе они были далеко не благотворны. Строптивость была истреблена — это правда, но в то же время было истреблено и довольство. Жители понурили головы и как бы захирели; нехотя они работали на полях, нехотя возвращались домой, нехотя садились за скудную трапезу и слонялись из угла в угол, словно все опостылело им.

В довершение всего, глуповцы насеяли горчицы и персидской ромашки столько, что цена на эти продукты упала до невероятности. Последовал экономический кризис, и не было ни Молинари, ни Безобразова, чтоб объяснить, что это-то и есть настоящее процветание. Не только драгоценных металлов и мехов не получали обыватели в обмен за свои продукты, но не на что было купить даже хлеба.

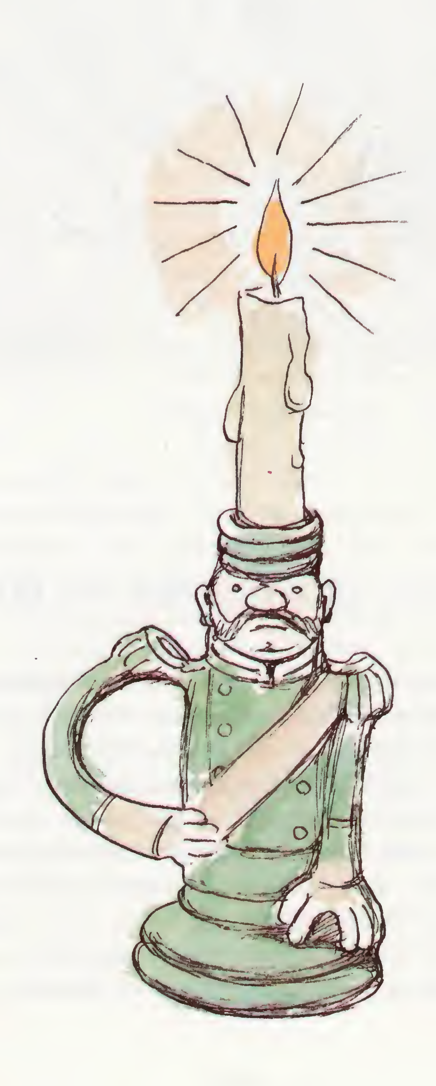
Однако до 1790 года дело все еще кой-как шло. С полной порции обыватели перешли на полпорции, но даней не задерживали, а к просвещению оказывали даже некоторое пристрастие. В 1790 году повезли глуповцы на главные рынки свои продукты, и никто у них ничего не купил: всем стало жаль клопов. Тогда жители перешли на четверть порции и задержали дани. В это же время, словно на смех, вспыхнула во Франции революция, и стало всем ясно, что «просвещение» полезно только тогда, когда оно имеет характер непросвещенный. Бородавкин получил бумагу, в которой ему рекомендовалось: «По случаю известного вам происшествия извольте прилежно смотреть, дабы неисправимое сие зло искореняемо было без всякого упущения».

Только тогда Бородавкин спохватился и понял, что шел слишком быстрыми шагами и совсем не туда, куда идти следует. Начав собирать дани, он с удивлением и негодованием увидел, что дворы пусты, и что если встречались кой-где куры, то и те были тощие от бескормицы. Но, по обыкновению, он обсудил этот факт не прямо, а с своей собственной оригинальной точки зрения, то есть увидел в нем бунт, произведенный на сей раз уже не невежеством, а излишеством просвещения.

— Вольный дух завели! разжирели! — кричал он без памяти, — на французов поглядываете!

И вот начался новый ряд походов, — походов уже против просвещения. В первый поход Бородавкин спалил слободу Навозную, во второй — разорил Негодницу, в третий — расточил Болото. Но подати все задерживались. Наступала минута, когда ему предстояло остаться на развалинах одному с своим секретарем, и он деятельно приготовлялся

к этой минуте. Но провидение не допустило того. В 1798 году уже собраны были скоровоспалительные материалы для сожжения всего города, как вдруг Бородавкина не стало... «Всех расточил он,— говорит по этому случаю летописец,— так, что даже попов для напутствия его не оказалось. Вынуждены были позвать соседнего капитан-исправника, который и засвидетельствовал исшествие многомятежного духа его».





ЭПОХА УВОЛЬНЕНИЯ ОТ ВОЙН

В 1802 году пал Негодяев. Оп пал, как говорит летописец, за несогласие с Новосильцевым и Строгоновым насчет конституций. Но, как кажется, это был только благовидный предлог, ибо едва ли даже можно предположить, чтоб Негодяев отказался от насаждения конституции, если б начальство настоятельно того потребовало. Негодяев принадлежал к школе так называемых «птенцов», которым было решительно все равно, что ни насаждать. Поэтому действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине истопником и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало. Сверх того, началь-

ство, по-видимому, убедилось, что войны за просвещение, обратившиеся потом в войны против просвещения, уже настолько изнурили Глупов, что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от войн освободить. Что предположение о конституциях представляло не более как слух, лишенный твердого основания, это доказывается, во-первых, новейшими исследованиями по сему предмету, а во-вторых, тем, что, на место Негодяева, градоначальником был назначен «черкашенин» Микаладзе, который о конституциях едва ли имел понятие более ясное, нежели Негодяев.

Конечно, невозможно отрицать, что попытки конституционного свойства существовали; но, как кажется, эти попытки ограничивались тем, что квартальные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякого прохожего хватали за воротник. Это единственная конституция, которая предполагалась возможною при тогдашнем младенческом состоянии общества. Прежде всего необходимо было приучить народ к учтивому обращению и потом уже, смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права. С точки зрения теоретической такой взгляд, конечно, совершенно верен. Но, с другой стороны, не меньшего вероятия заслуживает и то соображение, что как ни привлекательна теория учтивого обращения, но, взятая изолированно, она нимало не гарантирует людей от внезапного вторжения теории обращения неучтивого (как это и доказано впоследствии появлением на арене истории такой личности, как майор Угрюм-Бурчеев), и,следовательно, если мы действительно желаем утвердить учтивое обращение на прочном основании, то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы правами. А это, в свою очередь, доказывает, как шатки теории вообще и как мудро поступают те военачальники, которые относятся к ним с недоверчивостью.

Новый градоначальник понял это и потому поставил себе задачею привлекать сердца исключительно посредством изящных манер. Будучи в военном чине, он не обращал внимания на форму, а о дисциплине отзывался даже с горечью. Ходил всегда в расстегнутом сюртуке, из-под которого заманчиво виднелась снежной белизны пикейная жилетка и отложные воротнички. Охотно подавал подчиненным левую руку, охотно улыбался, и не только не позволял себе ничего утверждать слишком резко, но даже любил, при докладах, употреблять выражения, вроде: «Итак, вы изволили сказать», или: «Я имел уже честь доложить вам» и т. д. Только однажды, выведенный из терпения продолжительным противодействием своего помощника, он дозволил себе сказать: «Я уже имел честь подтверждать тебе, курицыну сыну»... но тут же спохватился и произвел его в следующий чин. Страстный по природе, он с увлечением предавался дамскому обществу и в этой страсти нашел себе преждевременную гибель. В оставленном им сочинении «О благовидной господ градоначальников наружности» (см. далее, в оправдательных документах) он довольно подробно изложил свои взгляды на этот предмет, но, как кажется, не вполне искренно связал свои успехи у глуповских дам с какими-то политическими и дипломатическими целями. Вероятнее всего, ему было совест-

но, что он, как Антоний в Египте, ведет исключительно изнеженную жизнь, и потому он захотел уверить потомство, что иногда и самая изнеженность может иметь смысл административно-полицейский. Догадка эта подтверждается еще тем, что из рассказа летописца вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствования производились частые аресты или чтоб кто-нибудь был нещадно бит, без чего, конечно, невозможно было бы обойтись, если б амурная деятельность его действительно была направлена к ограждению общественной безопасности. Поэтому почти наверное можно утверждать, что он любил амуры для амуров и был ценителем женских атуров* просто, без всяких политических целей; выдумал же эти последние лишь для ограждения себя перед начальством, которое, несмотря на свой несомненный либерализм, все-таки не упускало от времени до времени спрашивать: не пора ли начать войну? «Он же,— говорит по этому поводу летописец,— жалеючи сиротские слезы, всегда отвечал: не время, ибо не готовы еще собираемые известным мне способом для сего материалы. И, не собрав таковых, умре».

Как бы то ни было, но назначение Микаладзе было для глуповцев явлением в высшей степени отрадным. Предместник его, капитан Негодяев, хотя и не обладал так называемым «сущим» злонравием, но считал себя человеком убеждения (летописец везде вместо слова «убеждения» ставит слово «норов») и в этом качестве постоянно испытывал, достаточно ли глуповцы тверды в бедствиях. Результатом такой усиленной административной деятельности было то, что к концу его градоначальничества Глупов представлял беспорядочную кучу почерпевших и обветшавших изб, среди которых лишь съезжий дом гордо высил к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одёжи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы.

— Но как вы таким манером жить можете? — спросил у обывателей изумленный Микаладзе.

— Так и живем, что настоящей жизни не имеем,— отвечали глуповцы, и при этом не то засмеялись, не то заплакали.

Понятно, что ввиду такого нравственного расстройства главная забота нового градоначальника была направлена к тому, чтобы прежде всего снять с глуповцев испуг. И надо сказать правду, что он действовал в этом смысле довольно искусно. Предпринят был целый ряд последовательных мер, которые исключительно клонились к упомянутой выше цели и сущность которых может быть формулирована следующим образом: 1) просвещение и сопряженные с оным экзекуции временно прекратить, и 2) законов не издавать. Результаты были получены с первого же раза изумительные. Не прошло месяца, как уже шерсть, которою обросли глуповцы, вылиняла вся без остатка, и глуповцы начали стыдиться наготы. Спустя еще один месяц они перестали сосать лапу, а через полгода в Глупове, после многих лет безмолвия, состоялся первый хоровод, на котором лично присутствовал сам градоначальник и потчевал женский пол печатными пряниками.

Такими-то мирными подвигами ознаменовал себя черкашенин

Микаладзе. Как и всякое выражение истинно плодотворной деятельности, управление его не было ни громко, ни блестяще, не отличалось ни внешними завоеваниями, ни внутренними потрясениями, но оно отвечало потребности минуты и вполне достигало тех скромных целей, которые предположило себе. Видимых фактов было мало, но следствия бесчисленны. «Мудрые мира сего! — восклицает по этому поводу летописец,— прилежно о сем помыслите! и да не смущаются сердца ваши при взгляде на шелепа и иные орудия, в коих, по высокоумному мнению вашему, якобы сила и свет просвещения замыкаются!»

По всем этим причинам издатель настоящей истории находит совершенно естественным, что летописец, описывая административную деятельность Микаладзе, не очень-то щедр на подробности. Градоначальник этот важен не столько как прямой деятель, сколько как первый зачинатель на том мирном пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизация. Благотворная сила его действий была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение, чувствуются лишь непосредственно и не оставляют ярких и видимых следов в истории. Они не производят переворота ни в экономическом, ни в умственном положении страны, но ежели вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или беспрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Микаладзе, находят ее не во всех отношениях безупречною. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение — это так. Но, с другой стороны, если с просвещением фаталистически сопряжены экзекуции, то не требует ли благоразумие, чтоб даже и в таком очевидно полезном деле допускались краткие часы для отдохновения? И еще говорят, что Микаладзе не имел права не издавать законов,— и это, конечно, справедливо. Но, с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче* почитают себя счастливыми в воскресные и праздничные дни, то есть тогда, когда начальники мнят себя от писания законов свободными?

Пренебречь этими указаниями опыта едва ли возможно. Пускай рассказ летописца страдает недостатком ярких и осязательных фактов,— это не должно мешать нам признать, что Микаладзе был первый в ряду глуповских градоначальников, который установил драгоценнейший из всех административных прецедентов — прецедент кроткого и бессквернoго славословия. Положим, что прецедент этот не представлял ничего особенно твердого; положим, что в дальнейшем своем развитии он подвергался многим случайностям более или менее жестоким; но нельзя отрицать, что, будучи однажды введен, он уже никогда не умирал совершенно, а время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своем существовании. Ужели же этого мало?

Одну имел слабость этот достойный правитель — это какое-то неудержимое, почти горячечное стремление к женскому полу. Летописец довольно подробно останавливается на этой особенности своего героя, но замечательно, что в рассказе его не видится ни горечи, ни

озлобления. Один только раз он выражается так: «Много было от него порчи женам и девам глуповским», и этим как будто дает понять, что, и по его мнению, все-таки было бы лучше, если б порчи не было. Но прямого негодования нигде и ни в чем не выказывается. Впрочем, мы не последуем за летописцем в изображении этой слабости, так как желающие познакомиться с нею могут почерпнуть все нужное из прилагаемого сочинения: «О благовидной градоначальников наружности», написанного самим высокопоставленным автором. Справедливость требует, однако ж, сказать, что в сочинении этом пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о котором упоминается в летописи. А именно: однажды Микаладзе забрался ночью к жене местного казначея, но едва успел отрешиться от уз (так называет летописец мундир), как был застигнут врасплох ревнивцем-мужем. Произошла баталия, во время которой Микаладзе не столько сражался, сколько был сражаем. Но так как он вслед за тем умылся, то, разумеется, следов от бесчестья не осталось никаких. Кажется, это была единственная неудача, которую он потерпел в этом роде, и потому понятно, что он не упомянул об ней в своем сочинении. Это была такая ничтожная подробность в громадной серии многотрудных его подвигов по сей части, что не вызвала в нем даже потребности в стратегических соображениях, могущих обеспечить его походы на будущее время...

Микаладзе умер в 1806 году от истощения сил.

Когда почва была достаточно взрыхлена учтивым обращением и народ отдохнул от просвещения, тогда, сама собой, стала на очередь потребность в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник Феофилакт Иринархович Беневоленский, друг и товарищ Сперанского по семинарии.

С самой ранней юности Беневоленский чувствовал непреоборимую наклонность к законодательству. Сидя на скамьях семинарии, он уже начертал несколько законов, между которыми наиболее замечательны следующие: «Всякий человек да имеет сердце сокрушенно», «Всяка душа да трепещет» и «Всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток». Но чем более рос высокодаровитый юноша, тем непреоборимее делалась врожденная в нем страсть. Что из него должен во всяком случае образоваться законодатель,— в этом никто не сомневался; вопрос заключался только в том, какого сорта выйдет этот законодатель, то есть напомнит ли он собой глубокомыслие и административную прозорливость Ликурга или просто будет тверд, как Дракон. Он сам чувствовал всю важность этого вопроса, и в письме к «известному другу» (не скрывается ли под этим именем Сперанский?) следующим образом описывает свои колебания по этому случаю.

«Сижу я,— пишет он,— в унылом моем уединении, и всеминутно о том мыслю, какие законы к употреблению наиболее благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые хотя человеческое счастие устрояют (таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствовании), но, по обстоятельствам, не всегда бывают полезны; есть законы

немудрые, которые, ничьего счастья не устрояя, по обстоятельствам бывают, однако ж, благопотребны (примеров сему не привожу: сам знаешь!); и есть, наконец, законы средние, не очень мудрые, но и не весьма немудрые, такие, которые, не будучи ни полезными, ни бесполезными, бывают, однако ж, благопотребны в смысле наилучшего человеческой жизни наполнения. Например, когда мы забываемся и начинаем мнить себя бессмертными, сколь освежительно действует на нас сие простое выражение: memento mori!* Так точно и тут. Когда мы мним, что счастию нашему нет пределов, что мудрые законы не про нас писаны, а действию немудрых мы не подлежим, тогда являются на помощь законы средние, которых роль в том и заключается, чтоб напоминать живущим, что несть на земле дыхания, для которого не было бы своевременно написано хотя какого-нибудь закона. И поверишь ли, друг? чем больше я размышляю, тем больше склоняюсь в пользу законов средних. Они очаровывают мою душу, потому что это собственно даже не законы, а скорее, так сказать, *сумрак* законов. Вступая в их область, чувствуешь, что находишься в общении с легальностью, но в чем состоит это общение — не понимаешь. И все сие совершается помимо всякого размышления; ни о чем не думаешь, ничего определенного не видишь, но в то же время чувствуешь какое-то беспокойство, которое кажется неопределенным, потому что ни на что в особенности не опирается. Это, так сказать, апокалипсическое письмо*, которое может понять только тот, кто его получает. Средние законы имеют в себе то удобство, что всякий, читая их, говорит: какая глупость! а между тем всякий же неудержимо стремится исполнять их. Ежели бы, например, издать такой закон: «всякий да яст», то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения. Ты спросишь меня, друг: зачем же издавать такие законы, которые и без того всеми исполняются? На это отвечу: цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие — для того, чтобы законодатели не коснели в праздности»...

И так далее.

Таким образом, когда Беневоленский прибыл в Глупов, взгляд его на законодательство уж установился, и установился именно в том смысле, который всего более удовлетворял потребностям минуты. Стало быть, благополучие глуповцев, начатое черкашенином Микаладзе, не только не нарушилось, но получило лишь пущее утверждение. Глупову именно нужен был «сумрак законов», то есть такие законы, которые, с пользою занимая досуги законодателей, никакого внутреннего касательства до посторонних лиц иметь не могут. Иногда подобные законы называются даже мудрыми, и, по мнению людей компетентных, в этом названии нет ничего ни преувеличенного, ни незаслуженного.

Но тут встретилось непредвиденное обстоятельство. Едва Беневоленский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложил об этом Беневоленскому, он

сначала не поверил ему. Стали рыться в сенатских указах, но хотя перешарили весь архив, а такого указа, который уполномочивал бы Бородавкиных, Двоекуровых, Великановых, Беневоленских и т. п. издавать собственного измышления законы — не оказалось.

— Без закона все, что угодно, можно! — говорил секретарь,— только вот законов писать нельзя-с!

— Странно! — молвил Беневоленский и в ту же минуту отписал по начальству о встреченном им затруднении.

«Прибыл я в город Глупов,— писал он,— и хотя увидел жителей, предместником моим в тучное состояние приведенных, но в законах встретил столь великое оскудение, что обыватели даже различия никакого между законом и естеством не полагают. И тако, без явного светильника, в претемной ночи бродят. В сей крайности спрашиваю я себя: ежели кому из бродяг сих случится оступиться или в пропасть впасть, что их от такового падения остережет? Хотя же в Российской Державе законами изобильно, но все таковые по разным делам разбрелись, и даже весьма уповательно, что бо́льшая их часть в бывшие пожары сгорела. И того ради, существенная видится в том нужда, дабы можно было мне, яко градоначальнику, издавать для скорости собственного моего умысла законы, хотя бы даже не первого сорта (о сем и помыслить не смею!), но второго или третьего. В сей мысли еще более меня утверждает то, что город Глупов, по самой природе своей, есть, так сказать, область второзакония, для которой нет даже надобности в законах отяготительных и многосмысленных. В ожидании же милостивого на сие мое ходатайство разрешения, пребываю» и т. д.

Ответ на это представление последовал скоро.

«На представление,— писалось Беневоленскому,— о считанье города Глупова областью второзакония, предлагается на рассуждение ваше следующее:

1) Ежели таковых областей, в коих градоначальники станут второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдет ли от сего некоторого для архитектуры Российской Державы повреждения?

и 2) Ежели будет предоставлено градоначальникам, яко градоначальникам, второго сорта законы сочинять, то не придется ли потом и сотским, яко сотским, таковые же законы издавать предоставить, и какого те законы будут сорта?»

Беневоленский понял, что вопрос этот заключает в себе косвенный отказ, и опечалился этим глубоко. Современники объясняют это огорчение тем, будто бы души его уже коснулся яд единовластия; но это едва ли так. Когда человек и без законов имеет возможность делать все, что угодно, то странно подозревать его в честолюбии за такое действие, которое не только не распространяет, но именно ограничивает эту возможность. Ибо закон, каков бы он ни был (даже такой, как, например: «всякий да яст» или «всяка душа да трепещет»), все-таки имеет ограничивающую силу, которая никогда честолюбцам не по душе. Очевидно, стало быть, что Беневоленский был не столько често-

любец, сколько добросердечный доктринер*, которому казалось предосудительным даже утереть себе нос, если в законах не формулировано ясно, что «всякий имеющий надобность утереть свой нос — да утрет».

Как бы то ни было, но Беневоленский настолько огорчился отказом, что удалился в дом купчихи Распоповой (которую уважал за искусство печь пироги с начинкой), и, чтобы дать исход пожиравшей его жажде умственной деятельности, с упоением предался сочинению проповедей. Целый месяц во всех городских церквах читали попы эти мастерские проповеди, и целый месяц вздыхали глуповцы, слушая их — так чувствительно они были написаны! Сам градоначальник учил попов, как произносить их.

— Проповедник,— говорил он,— обязан иметь сердце сокрушенно и, следственно, главу слегка наклоненную набок. Глас не лаятельный, но томный, как бы воздыхающий. Руками не неистовствовать, но, утвердив первоначально правую руку близ сердца (сего истинного источника всех воздыханий), постепенно оную отодвигать в пространство, а потом вспять к тому же источнику обращать. В патетических местах не выкрикивать и ненужных слов от себя не сочинять, но токмо воздыхать громчае.

А глуповцы между тем тучнели всё больше и больше, и Беневоленский не только не огорчался этим, но радовался. Ни разу не пришло ему на мысль: а что, кабы сим благополучным людям да кровь пустить? напротив того, наблюдая из окон дома Распоповой, как обыватели бродят, переваливаясь, по улицам, он даже задавал себе вопрос: не потому ли люди сии и благополучны, что никакого сорта законы не тревожат их? Однако ж последнее предположение было слишком горько, чтоб мысль его успокоилась на нем. Едва отрывал он взоры от ликующих глуповцев, как тоска по законодательству снова овладевала им.

— Я даже изобразить сего не в состоянии, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна,— обращался он к купчихе Распоповой,— что бы я такое наделал, и как были бы сии люди против нынешнего благополучнее, если б мне хотя по одному закону в день издавать предоставлено было!

Наконец он не выдержал. В одну темную ночь, когда не только будочники, но и собаки спали, он вышел крадучись на улицу и во множестве разбросал листочки, на которых был написан первый, сочиненный им для Глупова закон. И хотя он понимал, что этот путь распубликования законов весьма предосудителен, но долго сдерживаемая страсть к законодательству так громко вопияла об удовлетворении, что перед голосом ее умолкли даже доводы благоразумия.

Закон был, видимо, написан второпях, а потому отличался необыкновенною краткостью. На другой день, идя на базар, глуповцы подняли с полу бумажки и прочитали следующее:

ЗАКОН 1-й

«Всякий человек да опасно ходит; откупщик же да принесет дары».

И только. Но смысл закона был ясен, и откупщик на другой же


Прыщъ

день явился к градоначальнику. Произошло объяснение; откупщик доказывал, что он и прежде был готов по мере возможности; Беневоленский же возражал, что он в прежнем неопределенном положении оставаться не может; что такое выражение, как «мера возможности», ничего не говорит ни уму, ни сердцу и что ясен только закон. Остановились на трех тысячах рублей в год и постановили считать эту цифру законною, до тех пор, однако ж, пока «обстоятельства перемены законам не сделают».

Рассказав этот случай, летописец спрашивает себя: была ли польза от такого закона? и отвечает на этот вопрос утвердительно. «Напоминанием об опасном хождении,— говорит он,— жители города Глупова нимало потревожены не были, ибо и до того, по самой своей природе, великую к таковому хождению способность имели и повсеминутно в оном упражнялись. Но откупщик пользу того узаконения ощутил подлинно, ибо когда преемник Беневоленского, Прыщ, вместо обычных трех тысяч, потребовал против прежнего вдвое, то откупщик продерзостно отвечал: «Не могу, ибо по закону более трех тысяч давать не обязываюсь». Прыщ же сказал: «И мы тот закон переменим». И переменил».

Ободренный успехом первого закона, Беневоленский начал деятельно приготовляться к изданию второго. Плоды оказались скорые, и на улицах города, тем же таинственным путем, явился новый и уже более пространный закон, который гласил тако:

УСТАВ
О ДОБРОПОРЯДОЧНОМ ПИРОГОВ ПЕЧЕНИИ

«1. Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печение и в будни.

2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав в реке рыбу — класть; изрубив намелко скотское мясо — класть же; изрубив капусту — тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху.

Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется.

3. По положении начинки и удобрении оной должным числом масла и яиц, класть пирог в печь и содержать в вольном духе, доколе не зарумянится.

4. По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из средины часть, да принесет оную в дар.

5. Исполнивший сие да яст».

Глуповцы тем быстрее поняли смысл этого нового узаконения, что они издревле были приучены вырезывать часть своего пирога и приносить ее в дар. Хотя же в последнее время, при либеральном управлении Микаладзе, обычай этот, по упущению, не исполнялся, но они не роптали на его возобновление, ибо надеялись, что он еще теснее

скрепит благожелательные отношения, существовавшие между ними и новым градоначальником. Все наперерыв спешили обрадовать Беневоленского; каждый приносил лучшую часть, а некоторые дарили даже по целому пирогу.

С тех пор законодательная деятельность в городе Глупове закипела. Не проходило дня, чтоб не явилось нового подметного письма и чтобы глуповцы не были чем-нибудь обрадованы. Настал, наконец, момент, когда Беневоленский начал даже помышлять о конституции.

— Конституция, доложу я вам, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна,— говорил он купчихе Распоповой,— вовсе не такое уж пугало, как люди несмысленные о сем полагают. Смысл каждой конституции таков: всякий в дому своем благополучно да почивает! Что же тут, спрашиваю я вас, сударыня моя, страшного или презорного?*

И начал он обдумывать свое намерение, но чем больше думал, тем более запутывался в своих мыслях. Всего более его смущало то, что он не мог дать достаточно твердого определения слову «пра́ва». Слово «обязанности» он сознавал очень ясно, так что мог об этом предмете исписать целые дести* бумаги, но «пра́ва» — что такое «пра́ва»? Достаточно ли было определить их, сказав: «всякий в дому своем благополучно да почивает»? не будет ли это чересчур уж кратко? А с другой стороны, если пуститься в разъяснения, не будет ли чересчур уж обширно и для самих глуповцев обременительно?

Сомнения эти разрешились тем, что Беневоленский, в виде переходной меры, издал «Устав о свойственном градоначальнику добросердечии», который, по обширности его, помещается в оправдательных документах.

— Знаю я,— говорил он по этому случаю купчихе Распоповой,— что истинной конституции документ сей в себе еще не заключает, но прошу вас, моя почтеннейшая, принять в соображение, что никакое здание, хотя бы даже то был куриный хлев, разом не завершается! По времени, выполним и остальное достолюбезное нам дело, а теперь утешимся тем, что возложим упование наше на бога!

Тем не менее нет никакого повода сомневаться, что Беневоленский рано или поздно привел бы в исполнение свое намерение, но в это время над ним уже нависли тучи. Виною всему был Бонапарт. Наступил 1811 год, и отношения России к Наполеону сделались чрезвычайно натянутыми. Однако ж слава этого нового «бича божия» еще не померкла и даже достигла Глупова. Там, между многочисленными его почитательницами (замечательно, что особенною приверженностью к врагу человечества отличался женский пол), самый горячий фанатизм выказывала купчиха Распопова.

— Уж как мне этого Бонапарта захотелось! — говаривала она Беневоленскому,— кажется, ничего бы не пожалела, только бы глазком на него взглянуть!

Сначала Беневоленский сердился и даже называл речи Распоповой «дурьими», но так как Марфа Терентьевна не унималась, а все больше и больше приставала к градоначальнику: вынь да положь Бонапарта, то под конец он изнемог. Он понял, что не исполнить требование

«дурьей породы» невозможно, и мало-помалу пришел даже к тому, что не находил в нем ничего предосудительного.

— Что же! пущай дурья порода натешится! — говорил он себе в утешение, — кому от того убыток!

И вот он вступил в секретные сношения с Наполеоном...

Каким образом об этих сношениях было узнано — это известно одному богу; но кажется, что сам Наполеон разболтал о том князю Куракину во время одного из своих petits levés*. И вот, в одно прекрасное утро, Глупов был изумлен, узнав, что им управляет не градоначальник, а изменник, и что из губернии едет особенная комиссия ревизовать его измену.

Тут открылось все: и то, что Беневоленский тайно призывал Наполеона в Глупов, и то, что он издавал свои собственные законы. В оправдание свое он мог сказать только то, что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были, как при нем, но оправдание это не приняли, или, лучше сказать, ответили на него так, что «правее бы он был, если б глуповцев совсем в отощание привел, лишь бы от издания нелепых своих строчек, кои продерзостно законами именует, воздержался».

Была теплая лунная ночь, когда к градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленский твердою поступью сошел на крыльцо и хотел было поклониться на все четыре стороны, как с смущением увидел, что на улице никого нет, кроме двух жандармов. По обыкновению, глуповцы и в этом случае удивили мир своею неблагодарностью, и как только узнали, что градоначальнику приходится плохо, так тотчас же лишили его своей популярности. Но как ни горька была эта чаша, Беневоленский испил ее с бодрым духом. Внятным и ясным голосом он произнес: «Бездельники!» и, сев в кибитку, благополучно проследовал в тот край, куда Макар телят не гонял.

Так окончил свое административное поприще градоначальник, в котором страсть к законодательству находилась в непрерывной борьбе с страстью к пирогам. Изданные им законы в настоящее время, впрочем, действия не имеют.

Но счастию глуповцев, по-видимому, не предстояло еще скорого конца. На смену Беневоленскому явился подполковник Прыщ и привез с собою систему администрации еще более упрощенную.

Прыщ был уже не молод, но сохранился необыкновенно. Плечистый, сложенный кряжем, он всею своею фигурой так, казалось, и говорил: не смотрите на то, что у меня седые усы: я могу! я еще очень могу! Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов; походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый. И все это украшалось блестящими штаб-офицерскими эполетами, которые так и играли на плечах при малейшем его движении.

По принятому обыкновению, он сделал рекомендательные визиты к городским властям и прочим знатным обоего пола особам, и при этом развил перед ними свою программу.



— Я человек простой-с,— говорил он одним,— и не для того сюда приехал, чтоб издавать законы-с. Моя обязанность паблюсти, чтобы законы были в целости и не валялись по столам-с. Конечно, и у меня есть план кампании, но этот план таков: отдохнуть-с!

Другим он говорил так:

— Состояние у меня, благодарение богу, изрядное. Командовал-с; стало быть, не растратил, а умножил-с. Следственно, какие есть насчет этого законы — те знаю, а новых издавать не желаю. Конечно, многие на моем месте понеслись бы в атаку, а может быть, даже устроили бы бомбардировку, но я человек простой и утешения для себя в атаках не вижу-с!

Третьим высказывался так:

— Я не либерал и либералом никогда не бывал-с. Действую всегда прямо и потому даже от законов держусь в отдалении. В затруднительных случаях приказываю поискать, но требую одного: чтоб закон был старый. Новых законов не люблю-с. Многое в них пропускается, а о прочем и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. От новых, говорю, законов увольте, прочее же надеюсь исполнить в точности!

Наконец, четвертым он изображал себя в следующих красках:

— Про себя могу сказать одно: в сражениях не бывал-с, но в парадах закален даже сверх пропорции. Новых идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать-с.

Этого мало: в первый же праздничный день он собрал генеральную сходку глуповцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию.

— Ну, старички,— сказал он обывателям,— давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте и сейте, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы — что же-с! все это вам же на пользу-с! По мне, даже монументы воздвигайте — я и в этом препятствовать не стану! Только с огнем, ради Христа, осторожнее обращайтесь, потому что тут недолго и до греха. Имущества свои попалите, сами погорите — что хорошего!

Как ни избалованы были глуповцы двумя последними градоначальниками, но либерализм столь беспредельный заставил их призадуматься: нет ли тут подвоха? Поэтому некоторое время они осматривались, разузнавали, говорили шепотом и вообще «опасно ходили». Казалось несколько странным, что градоначальник не только отказывается от вмешательства в обывательские дела, но даже утверждает, что в этом-то невмешательстве и заключается вся сущность администрации.

— И закопов издавать не будешь? — спрашивали они его с недоверчивостью.

— И законов не буду издавать — живите с богом!

— То-то! уж ты сделай милость, не издавай! Смотри, как за это прохвосту-то (так называли они Беневоленского) досталось! Стало быть, коли опять за то же примешься, как бы и тебе и нам в ответ не попасть!

Но Прыщ был совершенно искренен в своих заявлениях и твердо решился следовать по избранному пути. Прекратив все дела, он ходил по гостям, принимал обеды и балы и даже завел стаю борзых и гончих собак, с которыми травил на городском выгоне зайцев, лисиц, а однажды заполевал* очень хорошенькую мещаночку. Не без иронии отзывался он о своем предместнике, томившемся в то время в заточении.

— Филат Иринархович,— говорил,— больше на бумаге сулил, что обыватели при нем якобы благополучно в домах своих почивать будут, а я на практике это самое предоставлю... да-с!

И точно: несмотря на то что первые шаги Прыща были встречены глуповцами с недоверием, они не успели и оглянуться, как всего у них очутилось против прежнего вдвое и втрое. Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностию, и за все получили чистыми ассигнациями. А поелику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродилось столько, что, кроме продажи, осталось даже на собственное употребление. «Не то что в других городах,— с горечью говорит летописец,— где железные дороги[1] не успевают перевозить дары земные, на продажу назначенные, жители же от бескормицы в отощание приходят. В Глупове, в сию счастливую годину, не токмо хозяин, но и всякий наймит ел хлеб настоящий, а не в редкость бывали и шти с приварком».

Прыщ смотрел на это благополучие и радовался. Да и нельзя было не радоваться ему, потому что всеобщее изобилие отразилось и на нем. Амбары его ломились от приношений, делаемых в натуре; сундуки не вмещали серебра и золота, а ассигнации просто валялись по полу.

Так прошел и еще год, в течение которого у глуповцев всякого добра явилось уже не вдвое или втрое, но вчетверо. Но по мере того, как развивалась свобода, нарождался и исконный враг ее — анализ. С увеличением материального благосостояния приобретался досуг, а с приобретением досуга явилась способность исследовать и испытывать природу вещей. Так бывает всегда, но глуповцы употребили эту «нововявленную у них способность» не для того, чтобы упрочить свое благополучие, а для того, чтоб оное подорвать.

Неокрепшие в самоуправлении, глуповцы начали приписывать это явление посредничеству какой-то неведомой силы. А так как на их языке неведомая сила носила название чертовщины, то и стали думать, что тут не совсем чисто и что, следовательно, участие черта в этом деле не может подлежать сомнению. Стали присматривать за Прыщом и нашли в его поведении нечто сомнительное. Рассказывали, например, что однажды кто-то застал его спящим на диване, причем будто бы тело его было кругом обставлено мышеловками. Другие шли далее

---

[1] О железных дорогах тогда и помину не было, но это один из тех безвредных анахронизмов, каких очень много встречается в «Летописи».— *Изд.*

и утверждали, что Прыщ каждую ночь уходит спать на ледник. Все это обнаруживало нечто таинственное, и хотя никто не спросил себя, какое кому дело до того, что градоначальник спит на леднике, а не в обыкновенной спальной, но всякий тревожился. Общие подозрения еще более увеличились, когда заметили, что местный предводитель дворянства с некоторого времени находится в каком-то неестественно-возбужденном состоянии, и всякий раз, как встретится с градоначальником, начинает кружиться и выделывать нелепые телодвижения.

Нельзя сказать, чтоб предводитель отличался особенными качествами ума и сердца; но у него был желудок, в котором, как в могиле, исчезали всякие куски. Этот не весьма замысловатый дар природы сделался для него источником живейших наслаждений. Каждый день с раннего утра он отправлялся в поход по городу и поднюхивал запахи, вылетавшие из обывательских кухонь. В короткое время обоняние его было до такой степени изощрено, что он мог безошибочно угадать составные части самого сложного фарша.

Уже при первом свидании с градоначальником предводитель почувствовал, что в этом сановнике таится что-то не совсем обыкновенное, а именно, что от него пахнет трюфлями. Долгое время он боролся с своею догадкою, принимая ее за мечту воспаленного съестными припасами воображения, но чем чаще повторялись свидания, тем мучительнее становились сомнения. Наконец он не выдержал и сообщил о своих подозрениях письмоводителю дворянской опеки Половинкину.

— Пахнет от него! — говорил он своему изумленному наперснику,— пахнет! Точно вот в колбасной лавке!

— Может быть, они трюфельной помадой голову себе мажут-с? — усомнился Половинкин.

— Ну, это, брат, дудки! После этого каждый поросенок будет тебе в глаза лгать, что он не поросенок, а только поросячьими духами прыскается!

На первый раз разговор не имел других последствий, но мысль о поросячьих духах глубоко запала в душу предводителя. Впавши в гастрономическую тоску, он слонялся по городу, словно влюбленный, и, завидев где-нибудь Прыща, самым нелепым образом облизывался. Однажды, во время какого-то соединенного заседания, имевшего предметом устройство во время масленицы усиленного гастрономического торжества, предводитель, доведенный до исступления острым запахом, распространяемым градоначальником, вне себя вскочил с своего места и крикнул: «Уксусу и горчицы!» И затем, припав к градоначальнической голове, стал ее нюхать.

Изумление лиц, присутствовавших при этой загадочной сцене, было беспредельно. Странным показалось и то, что градоначальник, хотя и сквозь зубы, но довольно неосторожно сказал:

— Угадал, каналья!

И потом, спохватившись, с непринужденностию, очевидно притворною, прибавил:

— Кажется, наш достойнейший предводитель принял мою голову за фаршированную... ха, ха!

Увы! Это косвенное признание заключало в себе самую горькую правду!

Предводитель упал в обморок и вытерпел горячку, но ничего не забыл и ничему не научился. Произошло несколько сцен, почти неприличных. Предводитель юлил, кружился и наконец, очутившись однажды с Прыщом глаз на глаз, решился.

— Кусочек! — стонал он перед градоначальником, зорко следя за выражением глаз облюбованной им жертвы.

При первом же звуке столь определенно формулированной просьбы градоначальник дрогнул. Положение его сразу обрисовалось с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся бесполезными. Он робко взглянул на своего обидчика и, встретив его полный решимости взор, вдруг впал в состояние беспредельной тоски.

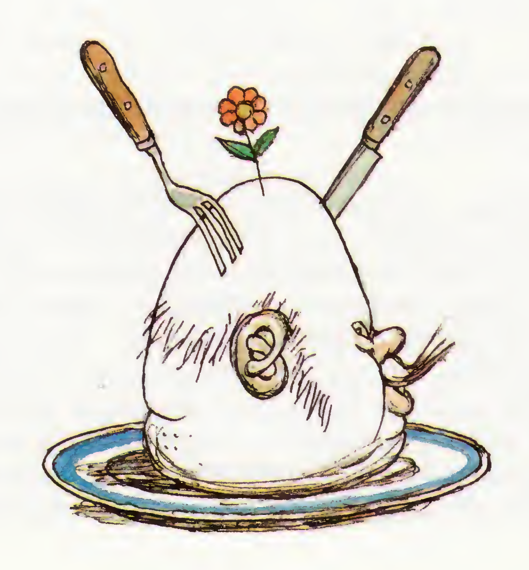
Тем не менее он все-таки сделал слабую попытку дать отпор. Завязалась борьба; но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладострастно ныло. Он задыхался, стонал, называл градоначальника «душкой», «милкой» и другими несвойственными этому сану именами; лизал его, нюхал и т. д. Наконец с неслыханным остервенением бросился предводитель на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил...

За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор, пока не осталось ни крохи...

Тогда градоначальник вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые предводитель полил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол.

На другой день глуповцы узнали, что у градоначальника их была фаршированная голова...

Но никто не догадался, что, благодаря именно этому обстоятельству, город был доведен до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания.





ПОКЛОНЕНИЕ МАМОНЕ* И ПОКАЯНИЕ

Человеческая жизнь — сновидение, говорят философы-спиритуалисты*, и если б они были вполне логичны, то прибавили бы: и история — тоже сновидение. Разумеется, взятые абсолютно, оба эти сравнения одинаково нелепы, однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью, сквозь которую невозможно различить ни ясных типических черт, ни даже сколько-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмыс-

ленные события бессвязно следуют одно за другим, и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился; начала, во имя которых возникла борьба, стушевались; остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и т. д.

Конечно, тревога эта преимущественно сосредоточивается на поверхности; однако ж едва ли возможно утверждать, что и на дне в это время обстоит благополучно. Что происходит в тех слоях пучины, которые следуют непосредственно за верхним слоем и далее, до самого дна? пребывают ли они спокойными, или и на них производит свое давление тревога, обнаружившаяся в верхнем слое? — с полною достоверностью определить это невозможно, так как вообще у нас еще нет привычки приглядываться к тому, что уходит далеко вглубь. Но едва ли мы ошибемся, сказавши, что давление чувствуется и там. Отчасти оно выражается в форме материальных ущербов и утрат, но преимущественно в форме более или менее продолжительной отсрочки общественного развития. И хотя результаты этих утрат с особенною горечью сказываются лишь впоследствии, однако ж можно догадываться, что и современники без особенного удовольствия относятся к тем давлениям, которые тяготеют над ними.

Одну из таких тяжких исторических эпох, вероятно, переживал Глупов в описываемое летописцем время. Собственная внутренняя жизнь города спряталась на дно, на поверхность же выступили какие-то злостные эманации*, которые и завладели всецело ареной истории. Искусственные примеси сверху донизу опутали Глупов, и ежели можно сказать, что в общей экономии его существования эта искусственность была небесполезна, то с не меньшею правдой можно утверждать и то, что люди, живущие под гнетом ее, суть люди не весьма счастливые. Претерпеть Бородавкина для того, чтоб познать пользу употребления некоторых злаков; претерпеть Урус-Кугуш-Кильдибаева для того, чтобы ознакомиться с настоящею отвагою, — как хотите, а такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным, хотя, с другой стороны, и нельзя отрицать, что некоторые злаки действительно полезны, да и отвага, употребленная в свое время и в своем месте, тоже не вредит.

При таких условиях невозможно ожидать, чтобы обыватели оказали какие-нибудь подвиги по части благоустройства и благочиния или особенно успели по части наук и искусств. Для них подобные исторические эпохи суть годы учения, в течение которых они испытывают себя в одном: в какой мере они могут претерпеть. Такими именно и представляет нам летописец своих сограждан. Из рассказа его видно, что глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости, в смысле самоуправления; что, напротив того, они мечутся из стороны в сторону, без всякого плана, как бы гони-

мые безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что это картина не лестная, но иною она не может и быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления. Историю этих ошеломлений летописец раскрывает перед нами с тою безыскусственностью и правдою, которыми всегда отличаются рассказы бытописателей-архивариусов. По моему мнению, это все, чего мы имеем право требовать от него. Никакого преднамеренного глумления в рассказе его не замечается; напротив того, во многих местах заметно даже сочувствие к бедным ошеломляемым. Уже один тот факт, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка.

Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая и доселе считается стоящею как бы вне пределов истории. С одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организоваться и окрепнуть, с другой — рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противоположных?

Что сила, о которой идет речь, отнюдь не выдуманная — это доказывается тем, что представление об ней даже положило основание целой исторической школе. Представители этой школы совершенно искренно проповедуют, что чем больше уничтожать обывателей, тем благополучнее они будут и тем блестящее будет сама история. Конечно, это мнение не весьма умное, но как доказать это людям, которые настолько в себе уверены, что никаких доказательств не слушают и не принимают? Прежде нежели начать доказывать, надобно еще заставить себя выслушать, а как это сделать, когда жалобщик самого себя не умеет достаточно убедить, что его не следует истреблять?

— Говорил я ему: какой вы, сударь, имеете резон драться? а он только знай по зубам щелкает: вот тебе резон! вот тебе резон!

Такова единственно ясная формула взаимных отношений, возможная при подобных условиях. Нет резона драться, но нет резона и не драться; в результате виднеется лишь печальная тавтология*, в которой оплеуха объясняется оплеухою. Конечно, тавтология эта держится на нитке, на одной только нитке, но как оборвать эту нитку? — в этом то весь и вопрос. И вот само собою высказывается мнение: не лучше ли возложить упование на будущее? Это мнение тоже не весьма умное, но что же делать, если никаких других мнений еще не выработалось? И вот его-то, по-видимому, держались и глуповцы.

Уподобив себя вечным должникам, находящимся во власти вечных кредиторов, они рассудили, что на свете бывают всякие кредиторы: и разумные и неразумные. Разумный кредитор помогает должнику выйти из стесненных обстоятельств и в вознаграждение за свою разумность получает свой долг. Неразумный кредитор сажает должника



в острог или непрерывно сечет его и в вознаграждение не получает ничего. Рассудив таким образом, глуповцы стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными? И ждут до сего дня.

Поэтому я не вижу в рассказах летописца ничего такого, что посягало бы на достоинство обывателей города Глупова. Это люди, как и все другие, с тою только оговоркою, что природные их свойства обросли массой наносных атомов, за которою почти ничего не видно. Поэтому о действительных «свойствах» и речи нет, а есть речь только о наносных атомах. Было ли бы лучше или даже приятнее, если б летописец, вместо описания нестройных движений, изобразил в Глупове идеальное средоточие законности и права? Например, в ту минуту, когда Бородавкин требует повсеместного распространения горчицы, было ли бы для читателей приятнее, если б летописец заставил обывателей не трепетать перед ним, а с успехом доказывать несвоевременность и неуместность его затей?

Положа руку на сердце, я утверждаю, что подобное извращение глуповских обычаев было бы не только не полезно, но даже положительно неприятно. И причина тому очень проста: рассказ летописца в этом виде оказался бы *несогласным с истиною*.

Неожиданное усекновение головы майора Прыща не оказало почти никакого влияния на благополучие обывателей. Некоторое время, за оскудением градоначальников, городом управляли квартальные; но так как либерализм еще продолжал давать тон жизни, то и они не бросались на жителей, но учтиво прогуливались по базару и умильно рассматривали, который кусок пожирнее. Но даже и эти скромные походы не всегда сопровождались для них удачею, потому что обыватели настолько осмелились, что охотно дарили только требухой.

Последствием такого благополучия было то, что в течение целого года в Глупове состоялся всего один заговор, но и то не со стороны обывателей против квартальных (как это обыкновенно бывает), а, напротив того, со стороны квартальных против обывателей (чего никогда не бывает). А именно: мучимые голодом квартальные решились отравить в гостином дворе всех собак, дабы иметь в ночное время беспрепятственный вход в лавки. К счастью, покушение было усмотрено вовремя, и заговор разрешился тем, что самих же заговорщиков лишили на время установленной дачи требухи.

После того прибыл в Глупов статский советник Иванов, но оказался столь малого роста, что не мог вмещать ничего пространного. Как нарочно, это случилось в ту самую пору, когда страсть к законодательству приняла в нашем отечестве размеры чуть-чуть не опасные; канцелярии кипели уставами, как никогда не кипели сказочные реки млеком и медом, и каждый устав весил отнюдь не менее фунта. Вот это-то обстоятельство именно и причинило погибель Иванова, рассказ о которой, впрочем, существует в двух совершенно различных вариантах. Один вариант говорит, что Иванов умер от испуга, получив слишком обширный сенатский указ, понять который он не надеялся. Другой

вариант утверждает, что Иванов совсем не умер, а был уволен в отставку за то, что голова его, вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении), перешла в зачаточное состояние. После этого он будто бы жил еще долгое время в собственном имении, где и удалось ему положить начало целой особи короткоголовых (микрокефалов), которые существуют в доднесь.

Какой из этих двух вариантов заслуживает большего доверия — решить трудно; но справедливость требует сказать, что атрофирование столь важного органа, как голова, едва ли могло совершиться в такое короткое время. Однако ж, с другой стороны, не подлежит сомнению, что микрокефалы действительно существуют и что родоначальником их предание называет именно статского советника Иванова. Впрочем, для нас это вопрос второстепенный; важно же то, что глуповцы, и во времена Иванова, продолжали быть благополучными и что, следовательно, изъян, которым он обладал, послужил обывателям не во вред, а на пользу.

В 1815 году приехал на смену Иванову виконт* Дю-Шарио, французский выходец. Париж был взят; враг человечества навсегда водворен на острове Св. Елены; «Московские ведомости» заявили, что с посрамлением врага задача их кончилась, и обещали прекратить свое существование; но на другой день взяли свое обещание назад и дали другое, которым обязывались прекратить свое существование лишь тогда, когда Париж будет взят вторично. Ликование было общее, а вместе со всеми ликовал и Глупов. Вспомнили про купчиху Распопову, как она, вместе с Беневоленским, интриговала в пользу Наполеона, выволокли ее на улицу и разрешили мальчишкам дразнить. Целый день преследовали маленькие негодяи злосчастную вдову, называя ее Бонапартовной, антихристовой наложницей, и проч., покуда наконец она не пришла в исступление и не начала прорицать. Смысл этих прорицаний объяснился лишь впоследствии, когда в Глупов прибыл Угрюм-Бурчеев и не оставил в городе камня на камне.

Дю-Шарио был весел. Во-первых, его эмигрантскому сердцу было радостно, что Париж взят; во-вторых, он столько времени настоящим манером не едал, что глуповские пироги с начинкой показались ему райскою пищей. Наевшись досыта, он потребовал, чтоб ему немедленно указали место, где было бы можно passer son temps à faire des bêtises*, и был отменно доволен, когда узнал, что в Солдатской слободе есть именно такой дом, какого ему желательно. Затем он начал болтать и уже не переставал до тех пор, покуда не был, по распоряжению начальства, выпровожен из Глупова за границу. Но так как он все-таки был сыном XVIII века, то в болтовне его нередко прорывался дух исследования, который мог бы дать очень горькие плоды, если б он не был в значительной степени смягчен духом легкомыслия. Так, например, однажды он начал объяснять глуповцам права человека; но, к счастью, кончил тем, что объяснил права Бурбонов. В другой раз он начал с того, что убеждал обывателей уверовать в богиню Разума, и кончил тем, что просил признать непогрешимость папы. Все это были, однако ж, одни façons de parler*; и в сущности виконт готов

был стать на сторону какого угодно убеждения или догмата, если имел в виду, что за это ему перепадет лишний четвертак.

Он веселился без устали, почти ежедневно устраивал маскарады, одевался дебардёром*, танцевал канкан и в особенности любил интриговать мужчин[1]. Мастерски пел он гривуазные* песенки и уверял, что этим песням научил его граф д'Артуа (впоследствии французский король Карл X), во время пребывания в Риге. Ел сначала все, что попало, но когда отъелся, то стал употреблять преимущественно так называемую не́чисть, между которой отдавал предпочтение давленине и лягушкам. Но дел не вершил и в администрацию не вмешивался.

Это последнее обстоятельство обещало продлить благополучие глуповцев без конца; но они сами изнемогли под бременем своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву и что никто не в силах отнять его у них. Победа над Наполеоном еще более утвердила их в этом мнении, и едва ли не в эту самую эпоху сложилась знаменитая пословица: шапками закидаем! — которая впоследствии долгое время служила девизом глуповских подвигов на поле брани.

И вот последовал целый ряд прискорбных событий, которые летописец именует «бесстыжим глуповским неистовством», но которые гораздо приличнее назвать скоропреходящим глуповским баловством.

Начали с того, что стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем. Обличения того времени полны самых горьких указаний на этот печальный факт. «Было время,— гремели обличители,— когда глуповцы древних Платонов и Сократов благочестием посрамляли; ныне же не токмо сами Платонами сделались, но даже того горчае, ибо едва ли и Платон хлеб божий не в уста, а на пол метал, как нынешняя некая модная затея то делать повелевает». Но глуповцы не внимали обличителям и с дерзостью говорили: «Хлеб пущай свиньи едят, а мы свиней съедим — тот же хлеб будет!» И Дю-Шарио не только не возбранял подобных ответов, но даже видел в них возникновение какого-то духа исследования.

Почувствовавши себя на воле, глуповцы с какой-то яростью устремились по той покатости, которая очутилась под их ногами. Сейчас же они вздумали строить башню, с таким расчетом, чтоб верхний ее конец непременно упирался в небеса. Но так как архитекторов у них не было, а плотники были неученые и не всегда трезвые, то довели башню до половины и бросили, и только, быть может, благодаря этому обстоятельству избежали смешения языков.

Но и этого показалось мало. Забыли глуповцы истинного бога и прилепились к идолам. Вспомнили, что еще при Владимире Красном Солнышке некоторые вышедшие из употребления боги были сданы в архив, бросились туда и вытащили двух: Перуна и Волоса. Идолы, несколько веков не знавшие ремонта, находились в страшном запу-

---

[1] В этом ничего нет удивительного, ибо летописец свидетельствует, что этот самый Дю-Шарио был впоследствии подвергнут исследованию и оказался женщиной.— *Изд.*

щении, а у Перуна даже были нарисованы углем усы. Тем не менее глуповцам показались они так любы, что немедленно собрали они сходку и порешили так: знатным обоего пола особам кланяться Перуну, а смердам — приносить жертвы Волосу. Призвали и причетников* и требовали, чтоб они сделались кудесниками; но они ответа не дали и в смущении лишь трепетали воскрилиями. Тогда припомнили, что в Стрелецкой слободе есть некто, именуемый «расстрига Кузьма» (тот самый, который, если читатель припомнит, задумывал при Бородавкине перейти в раскол), и послали за ним. Кузьма к этому времени совсем уже оглох и ослеп, но едва дали ему понюхать монету рубль, как он сейчас же на все согласился и начал выкрикивать что-то непонятное стихами Аверкиева из оперы «Рогнеда».

Дю-Шарио смотрел из окна на всю эту церемонию и, держась за бока, кричал: «Sont-ils bêtes! dieux des dieux! sont-ils bêtes, ces moujiks de Gloupoff!»*

Развращение нравов развивалось не по дням, а по часам. Появились кокотки и кокодессы; мужчины завели жилетки с неслыханными вырезками, которые совершенно обнажали грудь; женщины устраивали сзади возвышения, имевшие прообразовательный смысл и возбуждавшие в прохожих вольные мысли. Образовался новый язык, получеловечий, полуобезьяний, но во всяком случае вполне негодный для выражения каких бы то ни было отвлеченных мыслей. Знатные особы ходили по улицам и пели: «A moi l'pompon», или «La Vénus aux carottes»*, смерды слонялись по кабакам и горланили камаринскую. Мнили, что во время этой гульбы хлеб вырастет сам собой, и потому перестали возделывать поля. Уважение к старшим исчезло; агитировали вопрос, не следует ли, по достижении людьми известных лет устранять их из жизни, но корысть одержала верх, и порешили на том, чтобы стариков и старух продать в рабство. В довершение всего очистили какой-то манеж и поставили в нем «Прекрасную Елену», пригласив, в качестве исполнительницы, девицу Бланш Гандон.

И за всем тем продолжали считать себя самым мудрым народом в мире.

В таком положении застал глуповские дела статский советник Эраст Андреевич Грустилов. Человек он был чувствительный, и когда говорил о взаимных отношениях двух полов, то краснел. Только что перед этим он сочинил повесть под названием: «Сатурн, останавливающий свой бег в объятиях Венеры», в которой, по выражению критиков того времени, счастливо сочетавалась нежность Апулея с игривостью Парни. Под именем Сатурна он изображал себя, под именем Венеры — известную тогда красавицу Наталью Кирилловну де Помпадур. «Сатурн,— писал он,— был обременен годами и имел согбенный вид, но еще мог некоторое совершить. Надо же, чтоб Венера, приметив сию в нем особенность, остановила на нем благосклонный свой взгляд»...

Но меланхолический вид (предтеча будущего мистицизма) прикрывал в нем много наклонностей несомненно порочных. Так, например,

известно было, что находясь при действующей армии провиантмейстером, он довольно непринужденно распоряжался казенною собственностью и облегчал себя от нареканий собственной совести только тем, что, взирая на солдат, евших затхлый хлеб, проливал обильные слезы. Известно было также, что и к мадам де Помпадур проник он отнюдь не с помощью какой-то «особенности», а просто с помощью денежных приношений, и при ее посредстве избавился от суда и даже получил высшее против прежнего назначение. Когда же Помпадурша была, «за слабое держание некоторой тайности», сослана в монастырь и пострижена под именем инокини Нимфодоры, то он первый бросил в нее камнем и написал «Повесть о некоторой многолюбивой жене», в которой делал очень ясные намеки на прежнюю свою благодетельницу. Сверх того, хотя он робел и краснел в присутствии женщин, но под этою робостью таилось то пущее сластолюбие, которое любит предварительно раздражить себя и потом уже неуклонно стремится к начертанной цели. Примеров этого затаенного, но жгучего сластолюбия рассказывали множество. Таким образом, однажды, одевшись лебедем, он подплыл к одной купавшейся девице, дочери благородных родителей, у которой только и приданого было, что красота, и в то время, когда она гладила его по головке, сделал ее на всю жизнь несчастною. Одним словом, он основательно изучил мифологию, и хотя любил прикидываться благочестивым, но, в сущности, был злейший идолопоклонник.

Глуповская распущенность пришлась ему по вкусу. При самом въезде в город он встретил процессию, которая сразу заинтересовала его. Шесть девиц, одетых в прозрачные хитоны, несли на носилках Перунов болван; впереди, в восторженном состоянии, скакала предводительша, прикрытая одними страусовыми перьями; сзади следовала толпа дворян и дворянок, между которыми виднелись почетнейшие представители глуповского купечества (мужики, мещане и краснорядцы победнее кланялись в это время Волосу). Дойдя до площади, толпа остановилась. Перуна поставили на возвышение, предводительша встала на колени и громким голосом начала читать «Жертву вечернюю» г. Боборыкина.

— Что такое? — спросил Грустилов, высовываясь из кареты и кося исподтишка глазами на наряд предводительши.

— Перуновы именины справляют, ваше высокородие! — отвечали в один голос квартальные.

— А девочки... девочки... есть? — как-то томно спросил Грустилов.

— Весь синклит-с! — отвечали квартальные, сочувственно переглянувшись между собою.

Грустилов вздохнул и приказал следовать далее.

Остановившись в градоначальническом доме и осведомившись от письмоводителя, что недоимок нет, что торговля процветает, а земледелие с каждым годом совершенствуется, он задумался на минуту, потом помялся на одном месте, как бы затрудняясь выразить заветную мысль, но наконец каким-то неуверенным голосом спросил:

— Тетерева у вас водятся?

— Точно так-с, ваше высокородие!

— Я, знаете, мой почтеннейший, люблю иногда... Хорошо иногда посмотреть, как они... как в природе ликованье этакое бывает...

И покраснел. Письмоводитель тоже на минуту смутился, однако ж сейчас же вслед за тем и нашелся.

— На что лучше-с! — отвечал он,— только осмелюсь доложить вашему высокородию: у нас на этот счет даже лучше зрелища видеть можно-с!

— Гм... да?..

— У нас, ваше высокородие, при предместнике вашем, кокотки завелись, так у них в народном театре как есть настоящий ток устроен-с. Каждый вечер собираются-с, свищут-с, ногами перебирают-с...

— Любопытно взглянуть! — промолвил Грустилов и сладко задумался.

В то время существовало мнение, что градоначальник есть хозяин города, обыватели же суть как бы его гости. Разница между «хозяином» в общепринятом значении этого слова и «хозяином города» полагалась лишь в том, что последний имел право сечь своих гостей, что относительно хозяина обыкновенного приличиями не допускалось. Грустилов вспомнил об этом праве и задумался еще слаще.

— А часто у вас секут? — спросил он письмоводителя, не поднимая на него глаз.

— У нас, ваше высокородие, эта мода оставлена-с. Со времени Онуфрия Иваныча господина Негодяева даже примеров не было. Всё лаской-с.

— Ну-с, а я сечь буду... девочек!..— прибавил он, внезапно покраснев.

Таким образом характер внутренней политики определился ясно. Предполагалось продолжать действия пяти последних градоначальников, усугубив лишь элемент гривуазности, внесенной виконтом Дю-Шарио, и сдобрив его, для вида, известным колоритом сентиментальности. Влияние кратковременной стоянки в Париже сказывалось повсюду. Победители, принявшие впопыхах гидру деспотизма за гидру революции и покорившие ее, были, в свою очередь, покорены побежденными. Величавая дикость прежнего времени исчезла без следа; вместо гигантов, сгибавших подковы и ломавших целковые, явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности. Для этих непристойностей существовал особый язык. Любовное свидание мужчины с женщиной именовалось «ездою на остров любви»; грубая терминология анатомии заменилась более утонченною; появились выражения вроде «шаловливый мизантроп», «милая отшельница» и т. п.

Тем не менее, говоря сравнительно, жить было все-таки легко, и эта легкость в особенности приходилась по нутру так называемым смердам. Ударившись в политеизм*, осложненный гривуазностью, представители глуповской интеллигенции сделались равнодушны ко всему, что происходило вне замкнутой сферы «езды на остров любви».

Они чувствовали себя счастливыми и довольными, и в этом качестве не хотели препятствовать счастию и довольству других. Во времена Бородавкиных, Негодяевых и проч., казалось, например, непростительною дерзостью, если смерд поливал свою кашу маслом. Не потому это была дерзость, чтобы от того произошел для кого-нибудь ущерб, а потому что люди, подобные Негодяеву — всегда отчаянные теоретики и предполагают в смерде одну способность: быть твердым в бедствиях. Поэтому они отнимали у смерда кашу и бросали собакам. Теперь этот взгляд значительно изменился, чему, конечно, не в малой степени содействовало и размягчение мозгов — тогдашняя модная болезнь. Смерды воспользовались этим и наполняли свои желудки жирной кашей до крайних пределов. Им неизвестна еще была истина, что человек не одной кашей живет, и поэтому они думали, что если желудки их полны, то это значит, что и сами они вполне благополучны. По той же причине они так охотно прилепились и к многобожию: оно казалось им более сподручным, нежели монотеизм*. Они охотнее преклонялись перед Волосом или Ярилою, но в то же время мотали себе на ус, что если долгое время не будет у них дождя или будут дожди слишком продолжительные, то они могут своих излюбленных богов высечь, обмазать нечистотами и вообще сорвать на них досаду. И хотя очевидно, что материализм столь грубый не мог продолжительное время питать общество, но в качестве новинки он нравился и даже опьянял.

Все спешило жить и наслаждаться; спешил и Грустилов. Он совсем бросил городническое правление и ограничил свою административную деятельность тем, что удвоил установленные предместниками его оклады и требовал, чтобы они бездоимочно поступали в назначенные сроки. Все остальное время он посвятил поклонению Киприде* в тех неслыханно разнообразных формах, которые были выработаны цивилизацией того времени. Это беспечное отношение к служебным обязанностям было, однако ж, со стороны Грустилова большою ошибкою.

Несмотря на то что в бытность свою провиантмейстером Грустилов довольно ловко утаивал казенные деньги, административная опытность его не была ни глубока, ни многостороння. Многие думают, что ежели человек умеет незаметным образом вытащить платок из кармана своего соседа, то этого будто бы уже достаточно, чтобы упрочить за ним репутацию политика или сердцеведца. Однако это ошибка. Воры-сердцеведцы встречаются чрезвычайно редко; чаще же случается, что мошенник даже самый грандиозный только в этой сфере и является замечательным деятелем, вне же пределов ее никаких способностей не выказывает. Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд. Но какими бы именами ни прикрывало себя ограбление, все-таки сфера грабителя останется совершенно другою, нежели сфера сердцеведца, ибо последний уловляет людей, тогда как первый уловляет только принадлежащие им бумажники и платки. Следовательно, ежели человек, произ-

ведший в свою пользу отчуждение на сумму в несколько миллионов рублей, сделается впоследствии даже меценатом* и построит мраморный палаццо, в котором сосредоточит все чудеса науки и искусства, то его все-таки нельзя назвать искусным общественным деятелем, а следует назвать только искусным мошенником.

Но в то время истины эти были еще неизвестны, и репутация сердцеведца утвердилась за Грустиловым беспрепятственно. В сущности, однако ж, это было не так. Если бы Грустилов стоял действительно на высоте своего положения, он понял бы, что предместники его, возведшие тунеядство в административный принцип, заблуждались очень горько и что тунеядство, как животворное начало, только тогда может считать себя достигающим полезных целей, когда оно концентрируется в известных пределах. Если тунеядство существует, то предполагается само собою, что рядом с ним существует и трудолюбие — на этом зиждется вся наука политической экономии. Трудолюбие питает тунеядство, тунеядство же оплодотворяет трудолюбие — вот единственная формула, которую, с точки зрения науки, можно свободно прилагать ко всем явлениям жизни. Грустилов ничего этого не понимал. Он думал, что тунеядствовать могут все поголовно и что производительные силы страны не только не иссякнут от этого, но даже увеличатся. Это было первое грубое его заблуждение.

Второе заблуждение заключалось в том, что он слишком увлекся блестящею стороною внутренней политики своих предшественников. Внимая рассказам о благосклонном бездействии майора Прыща, он соблазнился картиною общего ликования, бывшего результатом этого бездействия. Но он упустил из виду, во-первых, что народы даже самые зрелые не могут благоденствовать слишком продолжительное время, не рискуя впасть в грубый материализм, и во-вторых, что собственно в Глупове, благодаря вывезенному из Парижа духу вольномыслия, благоденствие в значительной степени осложнялось озорством. Нет спора, что можно и даже должно давать народам случай вкушать от плода познания добра и зла, но нужно держать этот плод твердой рукою и притом так, чтобы можно было во всякое время отнять его от слишком лакомых уст.

Последствия этих заблуждений сказались очень скоро. Уже в 1815 году в Глупове был чувствительный недород, а в следующем году не родилось совсем ничего, потому что обыватели, развращенные постоянной гульбой, до того понадеялись на свое счастие, что, не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине.

— И так, шельма, родит! — говорили они в чаду гордыни.

Но надежды их не сбылись, и когда поля весной освободились от снега, то глуповцы не без изумления увидели, что они стоят совсем голые. По обыкновению, явление это приписали действию враждебных сил и завинили богов за то, что они не оказали жителям достаточной защиты. Начали сечь Волоса, который выдержал наказание стоически, потом принялись за Ярилу, и говорят, будто бы в глазах его показались слезы. Глуповцы в ужасе разбежались по кабакам и стали ждать, что будет. Но ничего особенного не произошло. Был

дождь и было вёдро, но полезных злаков на незасеянных полях не появилось.

Грустилов присутствовал на костюмированном балу (в то время у глуповцев была каждый день масленица), когда весть о бедствии, угрожавшем Глупову, дошла до него. По-видимому, он ничего не подозревал. Весело шутя с предводительшей, он рассказывал ей, что в скором времени ожидается такая выкройка дамских платьев, что можно будет по прямой линии видеть паркет, на котором стоит женщина. Потом завел речь о прелестях уединенной жизни и вскользь заявил, что он и сам надеется когда-нибудь найти отдохновение в стенах монастыря.

— Конечно, женского? — спросила предводительша, лукаво улыбаясь.

— Если вы изволите быть в нем настоятельницей, то я хоть сейчас готов дать обет послушания,— галантерейно отвечал Грустилов.

Но этому вечеру суждено было провести глубокую демаркационную черту* во внутренней политике Грустилова. Бал разгорался; танцующие кружились неистово; в вихре развевающихся платьев и локонов мелькали белые, обнаженные, душистые плечи. Постепенно разыгрываясь, фантазия Грустилова умчалась наконец в надзвездный мир, куда он, по очереди, переселил вместе с собою всех этих полуобнаженных богинь, которых бюсты так глубоко уязвляли его сердце. Скоро, однако ж, и в надзвездном мире сделалось душно; тогда он удалился в уединенную комнату и, усевшись среди зелени померанцев и миртов, впал в забытье.

В эту самую минуту перед ним явилась маска и положила ему на плечо свою руку. Он сразу понял, что это — *она*. Она так тихо подошла к нему, как будто под атласным домино, довольно, впрочем, явственно обличавшем ее воздушные формы, скрывалась не женщина, а сильф. По плечам рассыпались русые, почти пепельные кудри, из-под маски глядели голубые глаза, а обнаженный подбородок обнаруживал существование ямочки, в которой, казалось, свил свое гнездо амур. Все в ней было полно какого-то скромного и в то же время не безрасчетного изящества, начиная от духов violettes de Parme*, которыми опрыскан был ее платок, и кончая щегольскою перчаткой, обтягивавшей ее маленькую, аристократическую ручку. Очевидно, однако ж, что она находилась в волнении, потому что грудь ее трепетно поднималась, а голос, напоминавший райскую музыку, слегка дрожал.

— Проснись, падший брат! — сказала она Грустилову.

Грустилов не понял; он думал, что ей представилось, будто он спит, и в доказательство, что это ошибка, стал простирать руки.

— Не о теле, а о душе говорю я! — грустно продолжала маска,— не тело, а душа спит... глубоко спит!

Тут только понял Грустилов, в чем дело, но так как душа его закоснела в идолопоклонстве, то слово истины, конечно, не могло сразу проникнуть в нее. Он даже заподозрил в первую минуту, что под маской скрывается юродивая Аксиньюшка, та самая, которая, еще

при Фердыщенке, предсказала большой глуповский пожар и которая, во время отпадения глуповцев в идолопоклонство, одна осталась верною истинному богу.

— Нет, я не та, которую ты во мне подозреваешь,— продолжала между тем таинственная незнакомка, как бы угадав его мысли,— я не Аксиньюшка, ибо недостойна облобызать даже прах ее ног. Я просто такая же грешница, как и ты!

С этими словами она сняла с лица своего маску.

Грустилов был поражен. Перед ним было прелестнейшее женское личико, какое когда-нибудь удавалось ему видеть. Случилось ему, правда, встретить нечто подобное в вольном городе Гамбурге, но это было так давно, что прошлое казалось как бы задернутым пеленою. Да; это именно те самые пепельные кудри, та самая матовая белизна лица, те самые голубые глаза, тот самый полный и трепещущий бюст; но как все это преобразилось в новой обстановке, как выступило вперед лучшими, интереснейшими своими сторонами! Но еще более поразило Грустилова, что незнакомка с такою прозорливостью угадала его предположение об Аксиньюшке...

— Я — твое внутреннее слово! я послана объявить тебе свет Фавора*, которого ты ищешь, сам того не зная! — продолжала между тем незнакомка,— но не спрашивай, кто меня послал, потому что я и сама объявить о сем не умею!

— Но кто же ты? — вскричал встревоженный Грустилов.

— Я та самая юродивая дева, которую ты видел с потухшим светильником в вольном городе Гамбурге! Долгое время находилась я в состоянии томления, долгое время безуспешно стремилась к свету, но князь тьмы слишком искусен, чтобы разом упустить из рук свою жертву! Однако *там* мой путь уже был начертан! Явился здешний аптекарь Пфейфер и, вступив со мной в брак, увлек меня в Глупов; здесь я познакомилась с Аксиньюшкой,— и задача просветления обозначилась передо мной так ясно, что восторг овладел всем существом моим. Но если бы ты знал, как жестока была борьба!

Она остановилась, подавленная скорбными воспоминаниями; он же алчно простирал руки, как бы желая осязать это непостижимое существо.

— Прими руки! — кротко сказала она,— не осязанием, но мыслью ты должен прикасаться ко мне, чтобы выслушать то, что я должна тебе открыть!

— Но не лучше ли будет, ежели мы удалимся в комнату более уединенную? — спросил он робко, как бы сам сомневаясь в приличии своего вопроса.

Однако ж она согласилась, и они удалились в один из тех очаровательных приютов, которые со времен Микаладзе устраивались для градоначальников во всех мало-мальски порядочных домах города Глупова. Что происходило между ними — это для всех осталось тайною; но он вышел из приюта расстроенный и с заплаканными глазами. *Внутреннее слово* подействовало так сильно, что он даже не удостоил танцующих взглядом и прямо отправился домой.

Происшествие это произвело сильное впечатление на глуповцев. Стали доискиваться, откуда явилась Пфейферша. Одни говорили, что она не более как интриганка, которая, с ведома мужа, задумала овладеть Грустиловым, чтобы вытеснить из города аптекаря Зальцфиша, делавшего Пфейферу сильную конкуренцию. Другие утверждали, что Пфейферша еще в вольном городе Гамбурге полюбила Грустилова за его меланхолический вид и вышла замуж за Пфейфера единственно затем, чтобы соединиться с Грустиловым и сосредоточить на себе ту чувствительность, которую он бесполезно растрачивал на такие пустые зрелища, как токованье тетеревов и кокоток.

Как бы то ни было, нельзя отвергать, что это была женщина далеко не дюжинная. Из оставшейся после нее переписки видно, что она находилась в сношениях со всеми знаменитейшими мистиками и пиетистами* того времени и что Лабзин, например, посвящал ей те избраннейшие свои сочинения, которые не предназначались для печати. Сверх того, она написала несколько романов, из которых в одном, под названием «Скиталица Доротея», изобразила себя в наилучшем свете. «Она была привлекательна на вид,— писалось в этом романе о героине,— но хотя многие мужчины желали ее ласк, она оставалась холодною и как бы загадочною. Тем не менее душа ее жаждала непрестанно, и когда в этих поисках встретилась с одним знаменитым химиком (так называла она Пфейфера), то прилепилась к нему бесконечно. Но при первом же земном ощущении она поняла, что жажда ее не удовлетворена»... и т. д.

Возвратившись домой, Грустилов целую ночь плакал. Воображение его рисовало греховную бездну, на дне которой метались черти. Были тут и кокотки, и кокодессы, и даже тетерева — и всё огненные. Один из чертей вылез из бездны и поднес ему любимое его кушанье, но едва он прикоснулся к нему устами, как по комнате распространился смрад. Но что всего более ужасало его — так это горькая уверенность, что не один он погряз, но в лице его погряз и весь Глупов.

— За всех ответить или всех спасти! — кричал он, цепенея от страха,— и, конечно, решился спасти.

На другой день, ранним утром, глуповцы были изумлены, услыхав мерный звон колокола, призывавший жителей к заутрене. Давным-давно уже не раздавался этот звон, так что глуповцы даже забыли о нем. Многие думали, что где-нибудь горит; но вместо пожара увидели зрелище более умилительное. Без шапки, в разодранном вицмундире, с опущенной долу головой и бия себя в перси* шел Грустилов впереди процессии, состоявшей, впрочем, лишь из чинов полицейской и пожарной команды. Сзади процессии следовала Пфейферша, без кринолина; с одной стороны ее конвоировала Аксиньюшка, с другой — знаменитый юродивый Парамоша, заменивший в любви глуповцев не менее знаменитого Архипушку, который сгорел таким трагическим образом в общий пожар (см. «Соломенный город»).

Отслушав заутреню, Грустилов вышел из церкви ободренный и, указывая Пфейферше на вытянувшихся в струнку пожарных и полицейских солдат («кои и во время глуповского беспутства втайне

истинному богу верны пребывали», присовокупляет летописец), сказал:

— Видя внезапное сих людей усердие, я в точности познал, сколь быстрое имеет действие сия вещь, которую вы, сударыня моя, внутренним словом справедливо именуете.

И потом, обращаясь к квартальным, прибавил:

— Дайте сим людям, за их усердие, по гривеннику!

— Рады стараться, ваше высокородие! — гаркнули в один голос полицейские и скорым шагом направились в кабак.

Таково было первое действие Грустилова после внезапного его обновления. Затем он отправился к Аксиньюшке, так как без ее нравственной поддержки никакого успеха в дальнейшем ходе дела ожидать было невозможно. Аксиньюшка жила на самом краю города, в какой-то землянке, которая скорее похожа была на кротовью нору, нежели на человеческое жилище. С ней же, в нравственном сожитии, находился и блаженный Парамоша. Сопровождаемый Пфейфершей, Грустилов ощупью спустился по темной лестнице вниз и едва мог нащупать дверь. Зрелище, представившееся глазам его, было поразительное. На грязном голом полу валялись два полуобнаженные человеческие остова (это были сами блаженные, уже успевшие возвратиться с богомолья), которые бормотали и выкрикивали какие-то бессвязные слова и в то же время вздрагивали, кривлялись и корчились, словно в лихорадке. Мутный свет проходил в нору сквозь единственное крошечное окошко, покрытое слоем пыли и паутины; на стенах слоилась сырость и плесень. Запах был до того отвратительный, что Грустилов в первую минуту сконфузился и зажал нос. Прозорливая старушка заметила это.

— Духи царские! духи райские! — запела она пронзительным голосом,— не надо ли кому духов?

И сделала при этом такое движение, что Грустилов наверное поколебался бы, если б Пфейферша не поддержала его.

— Спит душа твоя... спит глубоко! — сказала она строго,— а еще так недавно ты хвалился своей бодростью!

— Спит душенька на подушечке... спит душенька на перинушке... а боженька тук-тук! да по головке тук-тук! да по темечку тук-тук! — визжала блаженная, бросая в Грустилова щепками, землею и сором.

Парамоша лаял по-собачьи и кричал по-петушиному.

— Брысь, сатана! петух запел! — бормотал он в промежутках.

— Маловерный! Вспомни внутреннее слово! — настаивала с своей стороны Пфейферша.

Грустилов ободрился.

— Матушка Аксинья Егоровна! извольте меня разрешить! — сказал он твердым голосом.

— Я и Егоровна, я и тараторовна! Ярило — мерзило! Волос — без волос! Перун — старый... Парамон — он умен! — провизжала блаженная, скорчилась и умолкла.

Грустилов озирался в недоумении.

— Это значит, что следует поклониться Парамону Мелентьичу! — подсказала Пфейферша.

— Батюшка Парамон Мелентьич! извольте меня разрешить! — поклонился Грустилов.

Но Парамоша некоторое время только корчился и икал.

— Ниже! ниже поклонись! — командовала блаженная,— не жалей спины-то! не твоя спина — божья!

— Извольте меня, батюшка, разрешить! — повторил Грустилов, кланяясь ниже.

— Без працы не бенды кололацы! — пробормотал блаженный диким голосом — и вдруг вскочил.

Немедленно вслед за ним вскочила и Аксиньюшка, и начали они кружиться. Сперва кружились медленно и потихоньку всхлипывали; потом круги начали делаться быстрее и быстрее, покуда, наконец, не перешли в совершенный вихрь. Послышался хохот, визг, трели, всхлебывания, подобные тем, которые можно слышать только весной в пруду, дающем приют мириадам лягушек.

Грустилов и Пфейферша стояли некоторое время в ужасе, но, наконец, не выдержали. Сначала они вздрагивали и приседали, потом постепенно начали кружиться и вдруг завихрились и захохотали. Это означало, что наитие совершилось, и просимое разрешение получено.

Грустилов возвратился домой усталый до изнеможения; однако ж он еще нашел в себе достаточно силы, чтобы подписать распоряжение о наипоспешнейшей высылке из города аптекаря Зальцфиша. Верные ликовали, а причетники, в течение многих лет питавшиеся одними негодными злаками, закололи барана, и мало того что съели его всего, не пощадив даже копыт, но долгое время скребли ножом стол, на котором лежало мясо, и с жадностью ели стружки, как бы опасаясь утратить хотя один атом питательного вещества. В тот же день Грустилов надел на себя вериги (впоследствии оказалось, впрочем, что это были просто помочи, которые дотоле не были в Глупове в употреблении) и подвергнул свое тело бичеванию.

«В первый раз сегодня я понял,— писал он по этому случаю Пфейферше,— что значит слова: *всладце уязви мя,* которые вы сказали мне при первом свидании, дорогая сестра моя по духу! Сначала бичевал я себя с некоторою уклончивостью, но, постепенно разгораясь, позвал под конец денщика и сказал ему: «хлещи!» И что же? даже сие оказалось недостаточным, так что я вынужденным нашелся расковырять себе на невидном месте рану, но и от того не страдал, а находился в восхищении. Отнюдь не больно! Столь меня сие удивило, что я и доселе спрашиваю себя: полно, страдание ли это и не скрывается ли здесь какой-либо особливый вид плотоугодничества и самовосхищения? Жду вас к себе, дорогая сестра моя по духу, дабы разрешить сей вопрос в совокупном рассмотрении».

Может показаться странным, каким образом Грустилов, будучи одним из гривуазнейших поклонников мамоны, столь быстро обратился в аскета. На это могу сказать одно: кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи Глупова. Чудес этого рода

можно найти здесь даже более, чем нужно. Так, например, один начальник плюнул подчиненному в глаза, и тот прозрел. Другой начальник стал сечь неплательщика, думая преследовать в этом случае лишь воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что в спине у секомого зарыт клад[1]. Если факты, до такой степени диковинные, не возбуждают ни в ком недоверия, то можно ли удивляться превращению столь обыкновенному, как то, которое случилось с Грустиловым?

Но, с другой стороны, этот же факт объясняется и иным путем, более естественным. Есть указания, которые заставляют думать, что аскетизм Грустилова был совсем не так суров, как это можно предполагать с первого взгляда. Мы уже видели, что так называемые вериги его были не более как помочи; из дальнейших же объяснений летописца усматривается, что и прочие подвиги были весьма преувеличены Грустиловым и что они в значительной степени сдабривались духовною любовью. Шелеп, которым он бичевал себя, был бархатный (он и доселе хранится в глуповском архиве); пост же состоял в том, что он к прежним кушаньям прибавил рыбу тюрбо*, которую вынисывал из Парижа на счет обывателей. Что же тут удивительного, что бичевание приводило его в восторг и что самые язвы казались восхитительными?

Между тем колокол продолжал в урочное время призывать к молитве, и число верных с каждым днем увеличивалось. Сначала ходили только полицейские, но потом, глядя на них, стали ходить и посторонние. Грустилов, с своей стороны, подавал пример истинного благочестия, плюя на капище Перуна каждый раз, как проходил мимо него. Может быть, так и разрешилось бы это дело исподволь, если б мирному исходу его не помешали замыслы некоторых беспокойных честолюбцев, которые уже и в то время были известны под именем «крайних».

Во главе партии состояли те же Аксиньюшка и Парамоша, имея за собой целую толпу нищих и калек. У нищих единственным источником пропитания было прошение милостыни на церковных папертях; но так как древнее благочестие в Глупове на некоторое время прекратилось, то естественно, что источник этот значительно оскудел. Реформы, затеянные Грустиловым, были встречены со стороны их громким сочувствием; густою толпою убогие люди наполняли двор градоначальнического дома; одни ковыляли на деревяшках, другие ползали на четверинках. Все славословили, но в то же время уже все единогласно требовали, чтобы обновление совершилось сию минуту и чтоб наблюдение за этим делом было возложено на них. И тут, как всегда, голод оказался плохим советчиком, а медленные, но твердые и дальновидные действия градоначальника подверглись превратным толкованиям. Напрасно льстил Грустилов страстям калек, высылая им остатки от своей обильной трапезы; напрасно объяснял он выборным от убогих людей, что постепенность не есть потворство, а лишь вящее упроче-

---

[1] Реальность этого факта подтверждается тем, что с тех пор сечение было признано лучшим способом для взыскания недоимок.— *Изд.*

ние затеянного предприятия,— калеки ничего не хотели слышать. Гневно потрясали они своими деревяшками и громко угрожали поднять знамя бунта.

Опасность предстояла серьезная, ибо для того, чтобы усмирять убогих людей, необходимо иметь гораздо больший запас храбрости, нежели для того, чтобы палить в людей, не имеющих изъянов. Грустилов понимал это. Сверх того, он уже потому чувствовал себя беззащитным перед демагогами, что последние, так сказать, считали его своим созданием и в этом смысле действовали до крайности ловко. Во-первых, они окружили себя целою сетью доносов, посредством которых до сведения Грустилова доводился всякий слух, к посрамлению его чести относящийся; во-вторых, они заинтересовали в свою пользу Пфейфершу, посулив ей часть так называемого посумного сбора (этим сбором облагалась каждая нищенская сума́; впоследствии он лег в основание всей финансовой системы города Глупова).

Пфейферша денно и нощно приставала к Грустилову, в особенности преследуя его перепискою, которая, несмотря на короткое время, представляла уже в объеме довольно обширный том. Основание ее писем составляли видения, содержание которых изменялось, смотря по тому, довольна или недовольна она была своим «духовным братом». В одном письме она видит его «ходящим по облаку» и утверждает, что не только она, но и Пфейфер это видел; в другом усматривает его в геенне огненной, в сообществе с чертями всевозможных наименований. В одном письме развивает мысль, что градоначальники вообще имеют право на безусловное блаженство в загробной жизни, по тому одному, что они градоначальники; в другом утверждает, что градоначальники обязаны обращать на свое поведение особенное внимание, так как, в загробной жизни, они против всякого другого подвергаются истязаниям вдвое и втрое. Все равно как папы или князья.

В данном случае письма ее имели характер угрожающий. «Спешу известить вас,— писала она в одном из них,— что́ я в сию ночь во сне видела. Стоите вы в темном и смрадном месте и привязаны к столбу, а привязки сделаны из змий и на груди (у вас) доска, на которой написано: сей есть ведомый покровитель нечестивых и агарян*(sic). И бесы, собравшись, радуются, а праведные стоят в отдалении и, взирая на вас, льют слезы. Извольте сами рассмотреть, не видится ли тут какого не совсем выгодного для вас предзнаменования?»

Читая эти письма, Грустилов приходил в необычайное волнение. С одной стороны, природная склонность к апатии, с другой, страх чертей — все это производило в его голове какой-то неслыханный сумбур, среди которого он путался в самых противоречивых предположениях и мероприятиях. Одно казалось ясным: что он тогда только будет благополучен, когда глуповцы поголовно станут ходит ко всенощной и когда инспектором-наблюдателем всех глуповских училищ будет назначен Парамоша.

Это последнее условие было в особенности важно, и убогие люди предъявляли его очень настойчиво. Развращение нравов дошло до

того, что глуповцы посягнули проникнуть в тайну построения миров, и открыто рукоплескали учителю каллиграфии, который, выйдя из пределов своей специальности, проповедовал с кафедры, что мир не мог быть сотворен в шесть дней. Убогие очень основательно рассчитали, что если это мнение утвердится, то вместе с тем разом рухнет все глуповское миросозерцание вообще. Все части этого миросозерцания так крепко цеплялись друг за друга, что невозможно было потревожить одну, чтобы не разрушить всего остального. Не вопрос о порядке сотворения мира тут важен, а то, что вместе с этим вопросом могло вторгнуться в жизнь какое-то совсем новое начало, которое, наверное, должно было испортить всю кашу. Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь поражала их своею цельностью, и справедливо приписывают это счастливому отсутствию духа исследования. Если глуповцы с твердостию переносили бедствия самые ужасные, если они и после того продолжали жить, то они обязаны были этим только тому, что вообще всякое бедствие представлялось им чем-то совершенно от них не зависящим, а потому и неотвратимым. Самое крайнее, что дозволялось в виду идущей навстречу беды, — это прижаться куда-нибудь к сторонке, затаить дыхание и пропасть на все время, покуда беда будет кутить и мутить. Но и это уже считалось строптивостью; бороться же или открыто идти против беды — упаси боже! Стало быть, если допустить глуповцев рассуждать, то, пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например, действительно ли существует такое предопределение, которое делает для них обязательным претерпение даже такого бедствия, как, например, краткое, но совершенно бессмысленное градоправительство Брудастого (см. выше рассказ «Органчик»)? А так как вопрос этот длинный, а руки у них коротки, то очевидно, что существование вопроса только поколеблет их твердость в бедствиях, но в положении существенного улучшения все-таки не сделает.

Но покуда Грустилов колебался, убогие люди решились действовать самостоятельно. Они ворвались в квартиру учителя каллиграфии Линкина, произвели в ней обыск и нашли книгу: «Средства для истребления блох, клопов и других насекомых». С торжеством вытолкали они Линкина на улицу и, потрясая воздух радостными восклицаниями, повели его на градоначальнический двор. Грустилов сначала растерялся и, рассмотрев книгу, начал было объяснять, что она ничего не заключает в себе ни против религии, ни против нравственности, ни даже против общественного спокойствия. Но нищие ничего уже не слушали.

— Плохо ты, верно, читал! — дерзко кричали они градоначальнику и подняли такой гвалт, что Грустилов испугался и рассудил, что благоразумие повелевает уступить требованиям общественного мнения.

— Сам ли ты зловредную оную книгу сочинил? а ежели не сам, то кто тот заведомый вор и сущий разбойник, который таковое злодейство учинил? и как ты с тем вором знакомство свел? и от него ли ту книжицу получил? и ежели от него, то зачем, кому следует, о том не

объявил, но, забыв совесть, распутству его потакал и подражал? — Так начал Грустилов свой допрос Линкину.

— Ни сам я тоя книжицы не сочинял, ни сочинителя оной в глаза не видывал, а напечатана она в столичном городе Москве, в университетской типографии, иждивением книгопродавцев Манухиных! — твердо отвечал Линкин.

Толпе этот ответ не понравился, да и вообще она ожидала не того. Ей казалось, что Грустилов, как только приведут к нему Линкина, разорвет его пополам — и дело с концом. А он, вместо того, разговаривает! Поэтому, едва градоначальник разинул рот, чтобы предложить второй вопросный пункт, как толпа загудела:

— Что ты с ним балы-то точишь! он в бога не верит!

Тогда Грустилов в ужасе разодрал на себе вицмундир.

— Точно ли ты в бога не веришь? — подскочил он к Линкину, и по важности обвинения, не выждав ответа, слегка ударил его, в виде задатка, по щеке.

— Никому я о сем не объявлял, — уклонился Линкин от прямого ответа.

— Свидетели есть! свидетели! — гремела толпа.

Выступили вперед два свидетеля: отставной солдат Карапузов да слепенькая нищенка Маремьянушка. «И было тем свидетелям дано за ложное показание по пятаку серебром», — говорит летописец, который в этом случае явно становится на сторону угнетенного Линкина.

— Намеднись, а когда именно — не упомню, — свидетельствовал Карапузов, — сидел я в кабаке и пил вино, а неподалеку от меня сидел этот самый учитель и тоже пил вино. И выпивши он того вина довольно, сказал: все мы, что человеки, что скоты — всё едино; все помрем и все к чертовой матери пойдем!

— Но когда же... — заикнулся было Линкин.

— Стой! ты погоди пасть-то разевать! пущай сперва свидетель доскажет! — крикнула на него толпа.

— И будучи я приведен от тех его слов в соблазн, — продолжал Карапузов, — кротким манером сказал ему: «Как же, мол, это так, ваше благородие? ужели, мол, что человек, что скотина — все едино? и за что, мол, вы так нас порочите, что и места другого, кроме как у чертовой матери, для нас не нашли? Батюшки, мол, наши духовные не тому нас учили, — вот что!» Ну, он это взглянул на меня этак сыскоса: «Ты, говорит, колченогий (а у меня, ваше высокородие, точно что под Очаковом ногу унесло), в полиции, видно, служишь?» — взял шапку и вышел из кабака вон.

Линкин разинул рот, но это только пуще раздражило толпу.

— Да зажми ты ему пасть-то! — кричала она Грустилову, — ишь речистый какой выискался!

Карапузова сменила Маремьянушка.

— Сижу я намеднись в питейном, — свидетельствовала она, — и тошно мне, слепенькой, стало; сижу этак-то и все думаю: куда, мол, нонче народ, против прежнего, гордее стал! Бога забыли, в посты скоромное едят, нищих не оделяют; смотри, мол, скоро и на солнышко

прямо смотреть станут! Право. Только и подходит ко мне самый этот молодец: «Слепа, бабушка?» — говорит. «Слепенькая, мол, ваше высокое благородие».— «А отчего, мол, ты слепа?» — «От бога, говорю, ваше высокое благородие».— «Какой тут бог, от воспы, чай?» — это он-то все говорит. «А воспа-то, говорю, от кого же?» — «Ну, да, от бога, держи карман! Вы, говорит, в сырости да в нечистоте всю жизнь копаетесь, а бог виноват!»

Маремьянушка остановилась и заплакала.

— И так это меня обидело,— продолжала она, всхлипывая,— уж и не знаю как! «За что же, мол, ты бога-то обидел?» — говорю я ему. А он не то чтобы что, плюнул мне прямо в глаза: «Утрись, говорит, может, будешь видеть»,— и был таков.

Обстоятельства дела выяснились вполне; но так как Линкин непременно требовал, чтобы была выслушана речь его защитника, то Грустилов должен был скрепя сердце исполнить его требование. И точно: вышел из толпы какой-то отставной подьячий и стал говорить. Сначала говорил он довольно невнятно, но потом вник в предмет, и, к общему удивлению, вместо того чтобы защищать, стал обвинять. Это до того подействовало на Линкина, что он сейчас же не только сознался во всем, но даже много прибавил такого, чего никогда и не бывало.

— Смотрел я однажды у пруда на лягушек,— говорил он,— и был смущен диаволом. И начал себя бездельным обычаем спрашивать, точно ли один человек обладает душою, и нет ли таковой у гадов земных! И, взяв лягушку, исследовал. И по исследовании нашел: точно; душа есть и у лягушки, токмо малая видом и не бессмертная.

Тогда Грустилов обратился к убогим и, сказав:

Сами видите! — приказал отвести Линкина в часть.

К сожалению, летописец не рассказывает дальнейших подробностей этой истории. В переписке же Пфейферши сохранились лишь следующие строки об этом деле: «Вы, мужчины, очень счастливы; вы можете быть твердыми; но на меня вчерашнее зрелище произвело такое действие, что Пфейфер не на шутку встревожился и поскорей дал мне принять успокоительных капель». И только.

Но происшествие это было важно в том отношении, что если прежде у Грустилова еще были кой-какие сомнения насчет предстоящего ему образа действия, то с этой минуты они совершенно исчезли. Вечером того же дня он назначил Парамошу инспектором глуповских училищ, а другому юродивому, Яшеньке, предоставил кафедру философии, которую нарочно для него создал в уездном училище. Сам же усердно принялся за сочинение трактата: «О восхищениях благочестивой души».

В самое короткое время физиономия города до того изменилась, что он сделался почти неузнаваем. Вместо прежнего буйства и пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звоном колоколов, которые звонили на все манеры: и во вся, и в одиночку, и с перезвоном. Капища запустели; идолов утопили в реке, а манеж, в котором давала представления девица Гандон, сожгли. Затем по всем улицам

накурили смирною и ливаном*, и тогда только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена.

Но злаков на полях все не прибавлялось, ибо глуповцы от бездействия весело-буйственного перешли к бездействию мрачному. Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали процессии — бог не внимал мольбам. Кто-то заикнулся было сказать, что «как-никак, а придется в поле с сохою выйти», но дерзкого едва не побили каменьями и в ответ на его предложение утроили усердие.

Между тем Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать; он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом добела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовною небрегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька, с своей стороны, учил, что сей мир, который мы думаем очима своима видети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, из лона исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное, в некоей житнице сложены, и оттоль, в мере надобности, спущаются долу, дабы оное сонное видение вскорости увидети и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись* и 3) следует возлагать упование и созерцать — и ничего больше. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. «Для сего,— говорил он,— уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры на пупок».

Аксиньюшка тоже не плошала, но била в баклуши неутомимо. Она ходила по домам и рассказывала, как однажды черт водил ее по мытарствам, как она первоначально приняла его за странника, но потом догадалась и сразилась с ним. Основные начала ее учения были те же, что у Парамоши и Яшеньки, то есть, что работать не следует, а следует созерцать. «И, главное, подавать нищим, потому что нищие не о мамоне пекутся, а о том, как бы душу свою спасти»,— присовокупляла она, протягивая при этом руку. Проповедь эта шла столь успешно, что глуповские копейки дождем сыпались в ее карманы, и в скором времени она успела скопить довольно значительный капитал. Да и нельзя было не давать ей, потому что она всякому, не подающему милостыни, без церемонии плевала в глаза и, вместо извинения, говорила только: «Не взыщи!»

Но представителей местной интеллигенции даже эта суровая обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла лишь внешним образом, но настоящего уязвления не доставляла. Конечно, они не высказывали этого публично и даже в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но это была только внешность, с помощью которой они льстили народным страстям. Ходя по улицам с опущенными глазами,

благоговейно приближаясь к папертям, они как бы говорили смердам: «Смотрите! и мы не гнушаемся общения с вами!» — но, в сущности, мысль их блуждала далече. Испорченные недавними вакханалиями политеизма и пресыщенные пряностями цивилизации, они не довольствовались просто верою, но искали каких-то «восхищений». К сожалению, Грустилов первый пошел по этому нагубному пути и увлек за собой остальных. Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он устроил в нем сходбища, на которые по ночам собирался весь так называемый глуповский бомонд*. Тут сначала читали критические статьи г. Н. Страхова, но так как они глупы, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться; примеру его следовали другие; потом, мало-помалу, все начинали скакать, кружиться, петь и кричать, и производили эти неистовства до тех пор, покуда, совершенно измученные, не падали ниц. Этот момент собственно и назывался «восхищением».

Мог ли продолжаться такой жизненный установ и сколько времени? — определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия, как прямое следствие господствовавшего в то время аскетизма; но, с другой стороны, история Глупова примерами совершенно положительными удостоверяет нас, что продовольствие совсем не столь необходимо для счастия народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он, конечно, охотнее питается ею, нежели другими, менее питательными веществами; но если мяса нет, то он столь же охотно питается хлебом, а буде и хлеба недостаточно, то и лебедою. Стало быть, это вопрос еще спорный. Как бы то ни было, но безобразная глуповская затея разрешилась гораздо неожиданнее и совсем не от тех причин, которых влияние можно было бы предполагать самым естественным.

Дело в том, что в Глупове жил некоторый, не имеющий определенных занятий, штаб-офицер, которому было случайно оказано пренебрежение. А именно, еще во времена политеизма, на именинном пироге у Грустилова, всем лучшим гостям подали уху стерляжью, а штаб-офицеру,— разумеется, без ведома хозяина,— досталась уха из окуней. Гость проглотил обиду («только ложка в руке его задрожала», говорит летописец), но в душе поклялся отомстить. Начались контры; сначала борьба велась глухо, но потом, чем дальше, тем разгоралась все пуще и пуще. Вопрос об ухе был забыт и заменился другими вопросами политического и теологического* свойства, так что когда штаб-офицеру, из учтивости, предложили присутствовать при «восхищениях», то он наотрез отказался.

И был тот штаб-офицер доноситель...

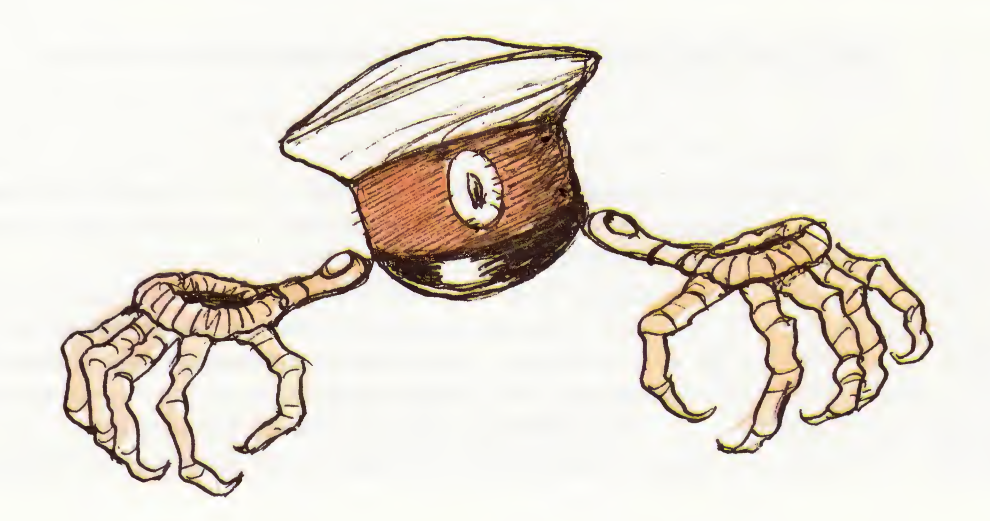
Несмотря на то что он не присутствовал на собраниях лично, он зорко следил за всем, что там происходило. Скакание, кружение, чтение статей Страхова — ничто не укрылось от его проницательности. Но он ни словом, ни делом не выразил ни порицания, ни одобрения

всем этим действиям, а хладнокровно выжидал, покуда нарыв созреет. И вот, эта вожделенная минута наконец наступила: ему попался в руки экземпляр сочиненной Грустиловым книги: «О восхищениях благочестивой души»...

В одну из ночей кавалеры и дамы глуповские, по обыкновению, собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей Страхова уже кончилось, и собравшиеся начинали слегка вздрагивать; но едва Грустилов, в качестве председателя собрания, начал приседать и вообще производить предварительные действия, до восхищения души относящиеся, как снаружи послышался шум. В ужасе бросились сектаторы* ко всем наружным выходам, забыв даже потушить огни и устранить вещественные доказательства... Но было уже поздно.

У самого главного выхода стоял Угрюм-Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор...

Но что это был за взор... О господи! что это был за взор!..





ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЯНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Он был ужасен.

Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какою-то суровою скромностью оговаривался. «Идет некто за мной,— говорил он,— который будет еще ужаснее меня».

Он был ужасен; но, сверх того, он был краток и с изумительною ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, которым были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составляв-

ших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-язвительным смехом; казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом... То был взор, светлый как сталь, взор, совершенно свободный от мысли, и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость — и ничего более.

Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы,— вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился. Его понятие о «долге» не шло далее всеобщего равенства перед шпицрутеном*; его представление о «простоте» не переступало далее простоты зверя, обличавшей совершенную наготу потребностей. Разума он не признавал вовсе, и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтоб эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование: нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а, подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. «Зачем?» — вот единственное слово, которым он выражал движения своей души.

Вовремя посторониться — вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок; вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить распоясавшись; он ничего не замечал; внутри района — можно было только маршировать. Если б глуповцы своевременно поняли это, им стоило только встать несколько в стороне и ждать. Но они сообразили это поздно, и в первое время, по примеру всех начальстволюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных истязаний, которые, словно сетью, охватили существование обывателей, отсюда же — далеко не заслуженное название «сатаны», которое народная молва присвоила Угрюм-Бурчееву. Когда у глуповцев спрашивали, что послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча

мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что эти люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений...

Обыкновенно противу идиотов принимаются известные меры, чтоб они, в неразумной стремительности, не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только *простых* идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные исторические моменты, кажется отданною жизнь... Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или очевидном вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений. Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем (он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться), а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы, вследствие усиленной идиотской деятельности, даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития?

Вот это-то отвержденное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Угрюм-Бурчеева. На лице его не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? — это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь выпяченную вперед на манер колеса. Ничего неизвестно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы ни стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то последствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх.

Самый образ жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностию. Он спал на голой земле,

и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение, по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам («причем бичевал себя не притворно, как предшественник его, Грустилов, а по точному разуму законов», прибавляет летописец).

Было у него и семейство; но покуда он градоначальствовал, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома и что он самолично раз в день, через железную решетку, подавал им хлеб и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей; сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх; но потом обручнели и с такою зверскою жадностию набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух.

Рассказывали, что возвышением своим Угрюм-Бурчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслию, что никто из подчиненных не любит его.

— Любим, вашество! — уверяли подчиненные.

— Все вы так на досуге говорите, — настаивал на своем начальник, — а дойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует.

Мало-помалу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич.

— Кто хочет доказать, что любит меня, — глашал он, — тот пусть отрубит указательный палец правой руки своей!

Никто, однако ж, на клич не спешил; одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление пальца сопряжено с болью; другие не выходили по недоразумению: не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает, всем ли довольны, и опасаясь, чтоб их не сочли за бунтовщиков, по обычаю, во весь рот зевали: «Рады стараться, ваше-е-е-ество-о!»

— Кто хочет доказать? выходи! не бойся! — повторил свой клич ревнивый начальник.

Но и на этот раз ответом было молчание или же такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло.

— Сви...

Но не успел он кончить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпицрутенами прохвост и велим голосом возопил:

— Я хочу доказать!

С этим словом, положив палец на перекладину, он тупым тесаком раздробил его.

Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое.

Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины от палок; но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея...

При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, но потом пришел в умиление.

— Ты меня возлюбил,— воскликнул он,— а я тебя возлюблю сторицею!

И послал его в Глупов.

В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивеляторах* вообще. Тем не менее нивеляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были нивеляторы «хождения в струне», нивеляторы «бараньего рога», нивеляторы «ежовых рукавиц» и проч. и проч. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека, ради сравнения с сверстниками, лишают жизни, то хотя лично для него, быть может, особливого благополучия от сего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно, и даже необходимо. Сами нивеляторы отнюдь не подозревали, что они — нивеляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями, в мере усмотрения радеющими о счастии подчиненных и подвластных им лиц...

Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего.

Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивеляторов этой школы. Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад ни вперед, ни направо ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? — утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь в позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и не изъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивеляторы старого закала, подобные Угрюм-Бурчееву, действовали в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. Угрюм-Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что он занимал эту должность в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыс-

лами. Прямая линия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая — ему нечего было делать с краткостью,— а ради того, что по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, всё шли, всё шли... Все они были снабжены одипаковыми физиономиями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало,— всё без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, Угрюм-Бурчеев, если можно так выразиться, перевертывался на другой бок и снова начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени одна за другой, всё шли, всё шли...

Еще задолго до прибытия в Глупов он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового.

Посредине — площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра, роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка — словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины — не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.

В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостию роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других — исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются не обещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по

экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых,— размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как-то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них — писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука числ преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весною, немедленно после таянья снегов, называется «Праздником неуклонности» и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой — осенью, называется «Праздником предержащих властей» и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.

Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.

Всякий дом есть не что иное, как *поселенная единица,* имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название *взвода*. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот — полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно *Город*, который из Глупова переименовывается в «вечно достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича город *Непреклонск*». Над городом парит окруженный облаком градоначальник или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него... шпион!!

В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются; взрослые и подростки облекаются в единообразные одежды (по особым, апробованным* градоначальником рисункам), подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом; шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в «манеж для коленопреклонений», где наскоро прочитывают молитву; потом направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой; наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре, и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде.

Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю,— всё по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностию. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем, и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев, весь покрытый пóтом, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает:

Раз — первой! раз — другой!—

а за ним все работающие подхватывают:

Ухнем!
Дубинушка, ухнем!

Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм-Бурчеев кричит: «Шабаш!» Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через «манеж для принятия пищи» и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся, и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закате всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон...

Ни бога, ни идолов — ничего...

В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивеляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба,— вот сущность этой кантонистской* фантазии...

Тем не менее, когда Угрюм-Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и всё идут, всё идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая

покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется... Что же это, однако, за даль? что скрывает она?

— Ка-за-р-рмы! — совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение.

— Казар-р-мы! — в свою очередь, словно эхо, вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем...

Управившись с Грустиловым и разогнав безумное скопище, Угрюм-Бурчеев немедленно приступил к осуществлению своего бреда.

Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта; улицы разбегались вкривь и вкось; дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? — «Создавать» — это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят. Именно так Угрюм-Бурчеев и поступил.

На другой же день по приезде он обошел весь город. Ни кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин — ничто не остановило его. Ему было ясно одно: что перед глазами его дремучий лес и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, Угрюм-Бурчеев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним совершилось что-то необыкновенное.

Он позабыл... он ничего подобного не предвидел... До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своим собственным содержанием. И вдруг... Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного василиска*. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила.

— Кто тут? — спросил он в ужасе.

Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: «Хитер, прохвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрей твоего будет». Да; это был тоже бред, или, лучше сказать, тут

встали лицом к лицу два бреда: один, созданный лично Угрюм-Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого.

— Зачем?— спросил, указывая глазами на реку, Угрюм-Бурчеев у сопровождавших его квартальных, когда прошел первый момент оцепенения.

Квартальные не поняли; но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса.

— Река-с... навоз-с...— лепетали они как попало.

— Зачем? — повторил он испуганно и вдруг, как бы боясь углубляться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад.

Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос:

— Уймý! я ее уймý!

Дома он через минуту уже решил дело по существу. Два одинаково великих подвига предстояли ему: разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее; средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его.

Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать: от сих мест до сих — и на протяжении отмеренного пространства наверное возникнет материк, а затем по-прежнему, и направо и налево, будет продолжать течь река.

Остановившись на этой мысли, он начал готовиться.

В какой-то дикой задумчивости бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под нос невнятные слова. На пути встречались ему обыватели, одетые в самые разнообразные лохмотья, и кланялись в пояс. Перед некоторыми он останавливался, вперял непонятливый взор в лохмотья и произносил:

— Зачем?

И, снова впавши в задумчивость, продолжал путь далее.

Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцев. Как оцепенелые застывали они перед ним, не будучи в силах оторвать глаза от его светлого, как сталь, взора. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом взоре, и тайна эта тяжелым, почти свинцовым пологом нависла над целым городом.

Город приник; в воздухе чувствовались спертость и духота.

Он еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел *конец*. В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего в себе тайну; в этом убеждало тихое рычание, исходившее из

его внутренностей. Незримо ни для кого, прокрался в среду обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные силы сосредоточивались на загадочном идиоте, и в мучительном беспокойстве кружились в одном и том же волшебном круге, которого центром был *он*. Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем. Нехотя исполняли они необходимые житейские дела, нехотя сходились друг с другом, нехотя жили со дня на день. К чему? — вот единственный вопрос, который ясно представлялся каждому при виде грядущего вдали идиота. Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить взор от его ужасного вездесущия? Глуповцы позабыли даже взаимные распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании...

Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он порешил однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность и что, следовательно, незачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему. Квартальные нравственно и физически истерзались; вытянувшись и затаивши дыхание, они становились на линии, по которой *он* проходил, и ждали, не будет ли приказаний; но приказаний не было. Он молча проходил мимо и не удостоивал их даже взглядом. Не стало в Глупове никакого суда: ни милостивого, ни немилостивого, ни скорого, ни нескорого. На первых порах глуповцы, по старой привычке, вздумали было обращаться к нему с претензиями и жалобами друг на друга; но он даже не понял их.

— Зачем? — говорил он, с каким-то диким изумлением обозревая жалобщика с головы до ног.

В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади действительно ничего нет.

Наконец страшный момент настал. После недолгих колебаний он решил так: сначала разрушить город, а потом уже приступить и к реке. Очевидно, он еще надеялся, что река образумится сама собой.

За неделю до Петрова дня он объявил приказ: всем говеть. Хотя глуповцы всегда говели охотно, но, выслушавши внезапный приказ Угрюм-Бурчеева, смутились. Стало быть, и в самом деле предстоит что-нибудь решительное, коль скоро, для принятия этого решительного, потребны такие приготовления? Этот вопрос сжимал все сердца тоскою. Думали сначала, что *он* будет палить, но, заглянув на градоначальнический двор, где стоял пушечный снаряд, из которого обыкновенно палили в обывателей, убедились, что пушки стоят незаряженные. Потом остановились на мысли, что будет произведена повсеместная «выемка», и стали готовиться к ней: прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и даже иконы,— одним словом, все, в чем можно было усмотреть какое-нибудь «оказательство».

— Кто его знает, какой он веры? — шептались промеж себя глуповцы,— может, и фармазон?

А *он* все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину, и никому не объявлял своей тайны.

В Петров день все причастились, а многие даже соборовались накануне. Когда запели причастный стих, в церкви раздались рыдания, «больше же всех вопили голова и предводитель, опасаясь за многое имение свое». Затем, проходя от причастия мимо градоначальника, кланялись и поздравляли; но он стоял дерзостно и никому даже не кивнул головой. День прошел в тишине невообразимой. Стали люди разгавливаться, но никому не шел кусок в горло, и все опять заплакали. Но когда проходил мимо градоначальник (он в этот день ходил форсированным маршем), то поспешно отирали слезы и старались придать лицам беспечное и доверчивое выражение. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось: вот увидят начальники нашу невинность и простят...

Но Угрюм-Бурчеев ничего не увидел и ничего не простил.

«30-го июня,— повествует летописец,— на другой день празднованья памяти святых и славных апостолов Петра и Павла был сделан первый приступ к сломке города». Градоначальник, с топором в руке, первый выбежал из своего дома и, как озаренный, бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделенные на отряды (в каждом уже с вечера был назначен особый урядник и особый шпион), они разом на всех пунктах начали работу разрушения. Раздался стук топора и визг пилы; воздух наполнился криками рабочих и грохотом падающих на землю бревен; пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Все были налицо, все до единого: взрослые и сильные рубили и ломали; малолетние и слабосильные сгребали мусор и свозили его к реке. От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ, а на ночь укрывались в устроенных на выгоне бараках, куда было свезено и обывательское имущество. Они сами не понимали, что делают, и даже не вопрошали друг друга, точно ли это наяву происходит. Они сознавали только одно: что конец наступил и что за ними везде, везде следит непонятливый взор угрюмого идиота. Мельком, словно во сне, припоминались некоторым старикам примеры из истории, а в особенности из эпохи, когда градоначальствовал Бородавкин, который навел в город оловянных солдатиков и однажды, в минуту безумной отваги, скомандовал им: «Ломай!» Но ведь тогда все-таки была война, а теперь... без всякого повода... среди глубокого земского мира...

Угрюм-Бурчеев мерным шагом ходил среди всеобщего опустошения, и на губах его играла та же самая улыбка, которая озарила лицо его в ту минуту, когда он, в порыве начальстволюбия, отрубил себе указательный палец правой руки. Он был доволен, он даже мечтал. Мысленно он уже шел дальше простого разрушения. Он рассортировывал жителей по росту и телосложению; он разводил мужей с законными женами и соединял с чужими; он раскассировывал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства; он назначал взводных, ротных и других командиров, избирал шпионов и т. д. Клятва, данная начальнику, наполовину уже выполнена. Все начеку, все кипит, все готово вынырнуть во всеоружии; остаются подробности,



но и те давным-давно предусмотрены и решены. Какая-то сладкая восторженность пронизывала все существо угрюмого прохвоста и уносила его далеко, далеко.

В упоении гордости он вперял глаза в небо, смотрел на светила небесные, и, казалось, это зрелище приводило его в недоумение.

— Зачем? — бормотал он чуть слышно и долго-долго о чем-то думал и что-то соображал.

Что именно?

Через полтора или два месяца не оставалось уже камня на камне. Но по мере того, как работа опустошения приближалась к набережной реки, чело Угрюм-Бурчеева омрачалось. Рухнул последний, ближайший к реке дом; в последний раз звякнул удар топора, а река не унималась. По-прежнему она текла, дышала, журчала и извивалась; по-прежнему один берег ее был крут, а другой представлял луговую низину, на далекое пространство заливаемую, в весеннее время, водой. Бред продолжался.

Громадные кучи мусора, навоза и соломы уже были сложены по берегам и ждали только мания, чтобы исчезнуть в глубинах реки. Нахмуренный идиот бродил между грудами и вел им счет, как бы опасаясь, чтоб кто-нибудь не похитил драгоценного материала. По временам он с уверенностию бормотал:

— Уйму́! я ее уйму́!

И вот вожделенная минута наступила. В одно прекрасное утро, созвавши будочников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнес:

— От сих мест — до сих!

Как ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтоб возроптать, но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают.

— Гони! — скомандовал он будочникам, вскидывая глазами на колышущуюся толпу.

Борьба с природой восприяла начало.

Масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы Глупова сделались неистощимыми и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежащих ее эксплуатации.

Много было наезжих людей, кото́рые разоряли Глупов; одни — ради шутки, другие — в минуту грусти, запальчивости или увлечения; но Угрюм-Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. От зари до зари кишели люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозом пропасть, казавшуюся бездонною. Но слепая стихия шутя рвала и разметывала наносимый ценою нечеловеческих усилий хлам и с каждым разом все глубже и глубже прокладывала себе ложе. Щепки, навоз, солома, мусор — все уносилось быстриной в неведомую даль, и Угрюм-Бурчеев, с удивлением,

доходящим до испуга, следил «непонятливым» оком за этим почти волшебным исчезновением его надежд и намерений.

Наконец люди истомились и стали заболевать. Сурово выслушивал Угрюм-Бурчеев ежедневные рапорты десятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни одним мускулом, командовал:

— Гони!

Появлялись новые партии рабочих, которые, как цвет папоротника, где-то таинственно нарастали, чтобы немедленно же исчезнуть в пучине водоворота. Наконец привели и предводителя, который один в целом городе считал себя свободным от работ, и стали толкать его в реку. Однако предводитель пошел не сразу, но протестовал и сослался на какие-то права.

— Гони! — скомандовал Угрюм-Бурчеев.

Толпа загоготала. Увидев, как предводитель, краснея и стыдясь, засучивал штаны, она почувствовала себя бодро и удвоила усилия.

Но тут встретилось новое затруднение: груды мусора убывали в виду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груду, на которую Угрюм-Бурчеев надеялся, как на каменную гору. Река задумалась, забуровила дно, но через мгновение потекла веселее прежнего.

Однажды, однако, счастье улыбнулось ему. Собрав последние усилия и истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всею массою вод хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание, словно миллионы неведомых гадин разом пустили свой шип из водяных хлябей. Затем все смолкло; река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне.

К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все еще прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни, и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки изб и, достигнув плотины, с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять выплывали и сбивались в кучу в одном месте. Разумеется, Угрюм-Бурчеев ничего этого не предвидел, но, взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже получил дар слова и стал хвастаться.

— Тако да видят людие! — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон; но потом, вспомнив, что он все-таки не более как прохвост, обратился к будочникам и приказал согнать городских попов:

— Гони!

Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле

дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, — вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль...

То же произошло и с Угрюм-Бурчеевым. Едва увидел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море. И так как за эту мысль никто не угрожал ему шпицрутенами, то он стал развивать ее дальше и дальше. Есть море — значит, есть и флоты: во-первых, разумеется, военный, потом торговый. Военный флот то и дело бомбардирует; торговый — перевозит драгоценные грузы. Но так как Глупов всем изобилует и ничего, кроме розог и административных мероприятий, не потребляет, другие же страны, как-то: село Недоедово, деревня Голодаевка и проч., суть совершенно голодные и притом до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу Глупова. Является великое изобилие звонкой монеты, которую, однако ж, глуповцы презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий.

И что ж! — все эти мечты рушились на другое же утро. Как ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как ни охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в ряды их.

Едва успев продрать глаза, Угрюм-Бурчеев тотчас же поспешил полюбоваться на произведение своего гения, но, приблизившись к реке, встал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились; остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах, точь-в-точь как за день тому назад.

Некоторое время Угрюм-Бурчеев безмолвствовал. С каким-то странным любопытством следил он, как волна плывет за волною, сперва одна, потом другая, и еще, и еще... И все это куда-то стремится и где-то, должно быть, исчезает...

Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуке.

— Напра-во круг-гом! за мной! — раздалась команда.

Он решился. Река не захотела уйти от него — он уйдет от нее. Место, на котором стоял старый Глупов, опостылело ему. Там не повинуются стихии, там овраги и буераки на каждом шагу преграждают стремительный бег; там воочию совершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать!

Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконец, к вечеру, он пришел. Перед глазами его расстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной

впадины. Куда ни обрати взоры — везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред точь-в-точь совпадавший с тем бредом, который гнездился в его голове...

— Здесь! — крикнул он ровным, беззвучным голосом.

Строился новый город на новом месте, но одновременно с ним выползало на свет что-то иное, чему еще не было в то время придумано названия, и что лишь в позднейшее время сделалось известным под довольно определенным названием «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Неправильно было бы, впрочем, полагать, что это «иное» появилось тогда в первый раз; нет, оно уже имело свою историю...

Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некотором Ионке Козыре, который, после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам, возвратился в родной город и привез с собой собственного сочинения книгу под названием: «Письма к другу о водворении на земле добродетели». Но так как биография этого Ионки составляет драгоценный материал для истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями.

Отец Ионки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период безначалия (см. «Сказание о шести градоначальницах»), когда, в течение семи дней, шесть градоначальниц вырывали друг у друга кормило правления, он, с изумительною для глуповца ловкостью, перебегал от одной партии к другой, причем так искусно заметал следы свои, что законная власть ни минуты не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшею и солиднейшею поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска Ираидки, потом войска Клемантинки, Амальки, Нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами Дуньку-толстопятую и Матренку-ноздрю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял, а так как для Мальки, Нельки и прочих время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями.

Ни помощник градоначальника, ни неустрашимый штаб-офицер — никто ничего не знал об интригах Козыря, так что, когда приехал в Глупов подлинный градоначальник, Двоекуров, и началась разборка «оного нелепого и смеха достойного глуповского смятения», то за Семеном Козырем не только не было найдено ни малейшей вины, но, напротив того, оказалось, что это «подлинно достойнейший и благопоспешительнейший к подавлению революции гражданин».

Двоекурову Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена Козыря, Анна, пекла превосходнейшие пироги; во-вторых, за то, что Семен, сочувствуя просветительным подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал сто рублей для основания в городе академии; в-третьих, наконец, за то, что Козырь не только не забывал ни Симеона-богоприимца, ни

Гликерии-девы (дней тезоименитства градоначальника и супруги его), но даже праздновал им дважды в год.

Долго памятен был указ, которым Двоекуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водки и пользу пива. «Водка,— говорилось в том указе,— не токмо не вселяет веселонравия, как многие полагают, но, при довольном употреблении, даже отклоняет от оного и порождает страсть к убивству. Пиво же можно кушать сколько угодно и без всякой опасности, ибо оное не печальные мысли внушает, а токмо добрые и веселые. А потому советуем и приказываем: водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки; в прочее же время безопасно кушать пиво, которое ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов 1-й гильдии купца Семена Козыря отпущается». Последствия этого указа были для Козыря бесчисленны. В короткое время он до того процвел, что начал уже находить, что в Глупове ему тесно, а «нужно-де мне, Козырю, вскорости в Петербурге быть, а тамо и ко двору явиться».

Во время градоначальствования Фердыщенки Козырю посчастливилось еще больше, благодаря влиянию ямщичихи Аленки, которая приходилась ему внучатной сестрой. В начале 1766 года он угадал голод и стал заблаговременно скупать хлеб. По его наущению Фердыщенко поставил у всех застав полицейских, которые останавливали возы с хлебом и гнали их прямо на двор к скупщику. Там Козырь объявлял, что платит за хлеб «по такции», и ежели между продавцами возникали сомнения, то недоумевающих отправлял в часть.

Но как пришло это баснословное богатство, так оно и улетучилось. Во-первых, Козырь не поладил с Домашкой-стрельчихой, которая заняла место Аленки. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться; князя Орлова звал Гришей, а о Мамонове и Ермолове говорил, что они умом коротки, что он, Козырь, «много им насчет национальной политики толковал, да мало они поняли».

В одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, призвал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь:

— Правда ли,— говорил он,— что ты, Семен, светлейшего Римской империи князя Григория Григорьевича Орлова Гришкою величал и, ходючи по кабакам, перед всякого звания людьми за приятеля себе выдавал?

Козырь замялся.

— И на то у меня свидетели есть,— продолжал Фердыщенко таким тоном, который не дозволял усомниться, что он подлинно знает, что говорит.

Козырь побледнел.

— И я тот твой бездельный поступок, по благодушию своему, прощаю! — вновь начал Фердыщенко,— а которое ты имение награбил, и то имение твое отписываю я, бригадир, на себя. Ступай и молись богу.

И точно: в тот же день отписал бригадир на себя Козыреву движимость и недвижимость, подарив, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было где душу спасти и себя прокормить.

Больной, озлобленный, всеми забытый, доживал Козырь свой век и на закате дней вдруг почувствовал прилив «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Стал проповедовать, что собственность есть мечтание, что только нищие да постники взойдут в царствие небесное, а богатые да бражники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. Причем, обращаясь к Фердыщенке (тогда было на этот счет просто: грабили, но правду выслушивали благодушно), прибавлял:

— Вот и ты, чертов угодник, в аду с братцем своим сатаной калеными угольями трапезовать станешь, а я, Семен, тем временем на лоне Авраамлем почивать буду.

Таков был первый глуповский демагог*.

Ионы Козыря не было в Глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда он возвратился домой, все ждали, что поступок Фердыщенки приведет его, по малой мере, в негодование; но он выслушал дурную весть спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно относилась к существующему факту и эту безучастность восполняла большою дозою утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут добродетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных результатов. Но все это именно только мелькало, не укладываясь в определенные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая книга «О водворении на земле добродетели» была не что иное, как свод подобных афоризмов, не указывавших и даже не имевших целью указать на какие-либо практические применения. Ионе приятно было сознавать себя добродетельным, а, конечно, еще было бы приятнее, если б и другие тоже сознавали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой, мечтательной натуры; это же обусловливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчений и забот, кроткая беседа, тишина, умеренность — вот идеалы, которые он проповедовал, ничего не зная о способах их осуществления.

Несмотря на свою расплывчивость, учение Козыря приобрело, однако ж, столько прозелитов* в Глупове, что градоначальник Бородавкин счел нелишним обеспокоиться этим. Сначала он вытребовал к себе книгу «О водворении на земле добродетели» и освидетельствовал ее; потом вытребовал и самого автора для освидетельствования.

— Чёл я твою, Ионкину, книгу,— сказал он,— и от многих написанных в ней злодейств был приведен в омерзение.

Ионка казался изумленным. Бородавкин продолжал:

— Мнишь ты всех людей добродетельными сделать, а про то позабыл, что добродетель не от себя, а от бога, и от бога же всякому человеку пристойное место указано.

Ионка изумлялся все больше и больше этому приступу и не столько со страхом, сколько с любопытством ожидал, к каким Бородавкин придет выводам.

— Ежели есть на свете клеветники, тати*, злодеи и душегубцы (о чем и в указах неотступно публикуется),— продолжал градоначальник,— то с чего же тебе, Ионке, на ум взбрело, чтоб им не быть? и кто тебе такую власть дал, чтобы всех сих людей от природных их званий отставить и зауряд с добродетельными людьми в некоторое смеха достойное место, тобою «раем» продерзостно именуемое, включить?

Ионка разинул было рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его:

— Погоди. И ежели все люди «в раю» в песнях и плясках время препровождать будут, то кто же, по-твоему, Ионкину, разумению, землю пахать станет? и вспахавши сеять? и посеявши жать? и собравши плоды, оными господ дворян и прочих чинов людей довольствовать и питать?

Опять разинул рот Ионка, и опять Бородавкин удержал его порыв.

— Погоди. И за те твои бессовестные речи судил я тебя, Ионку, судом скорым, и присудили тако: книгу твою, изодрав, растоптать (говоря это, Бородавкин изодрал и растоптал), с тобой же самим, яко с растлителем добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание, поступить, как мне, градоначальнику, заблагорассудится.

Таким образом, Ионой Козырем начался мартиролог* глуповского либерализма.

Разговор этот происходил утром в праздничный день, а в полдень вывели Ионку на базар и, дабы сделать вид его более омерзительным, надели на него сарафан (так как в числе последователей Козырева учения было много женщин), а на груди привесили дощечку с надписью: *бабник и прелюбодей*. В довершение всего квартальные приглашали торговых людей плевать на преступника, что и исполнялось. К вечеру Ионки не стало.

Таков был первый дебют глуповского либерализма. Несмотря, однако ж, на неудачу, «дурные страсти» не умерли, а образовали традицию, которая переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного распространения этого зла в будущем, а потому, не обращая должного внимания на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прискорбною краткостью. Так, например, при Негодяеве упоминается о некоем дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то, что говорил хульные слова, а слова те в том состояли, что «всем-де людям в еде равная потреба настоит, и кто-де ест много, пускай делится с тем, кто ест мало». «И сидя на цепи, Ивашка умре»,— прибавляет летописец. Другой пример случился при Микаладзе, который хотя был сам либерал, но, по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воздерживаться от заушений. Во время его управления городом, тридцать три философа были рассеяны по лицу земли за то, что «нелепым обычаем говорили: трудящийся да яст; нетрудящийся же да вкусит от плодов безделия своего». Третий пример был при Беневоленском, когда был «подвергнут расспросным речам» дворянский сын Алешка Беспятов, за то, что в укору градоначальнику,

любившему заниматься законодательством, утверждал: «Худы-де те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны». И он тоже «от расспросных речей да с испугу и с боли умре». После Беспятова либеральный мартиролог временно прекратился. Прыщ и Иванов были глупы; Дю-Шарио же был и глуп и, кроме того, сам заражен либерализмом. Грустилов в первую половину своего градоначальствования не только не препятствовал, но даже покровительствовал либерализму, потому что смешивал его с вольным обращением, к которому от природы имел непреодолимую склонность. Только впоследствии, когда блаженный Парамоша и юродивенькая Аксиньюшка взяли в руки бразды правления, либеральный мартиролог вновь восприял начало, в лице учителя каллиграфии Линкина, доктрина которого, как известно, состояла в том, что «все мы, что человеки, что скоты,— все помрем и все к чертовой матери пойдем». Вместе с Линкиным чуть было не попались впросак два знаменитнейшие философа того времени, Фунич и Мерзицкий, но вовремя спохватились и начали, вместе с Грустиловым, присутствовать при «восхищениях» (см. «Поклонение мамоне и покаяние»). Поворот Грустилова дал либерализму новое направление, которое можно назвать центробежно-центростремительно-неисповедимо-завиральным. Но это был все-таки либерализм, а потому и он успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем, ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения начальством.

Восхищение начальством! что значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает и возможность оным *не*восхищения! А отсюда до революции — один шаг.

Со вступлением в должность градоначальника Угрюм-Бурчеева либерализм в Глупове прекратился вовсе, а потому и мартиролог не возобновлялся. «Будучи, выше меры, обременены телесными упражнениями,— говорит летописец,— глуповцы, с устатку, ни о чем больше не мыслили, кроме как о выпрямлении согбенных работой телес своих». Таким образом продолжалось все время, покуда Угрюм-Бурчеев разрушал старый город и боролся с рекою. Но по мере того как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены...

Дело в том, что по окончательном устройстве города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименования города из Глупова в Непреклонск; во-вторых, последовал праздник в воспоминание побед, одержанных бывшими градоначальниками над обывателями; и, в-третьих, по случаю наступления осеннего времени сам собой подошел праздник «предержащих властей». Хотя, по первоначальному проекту Угрюм-Бурчеева, праздники должны были отличаться от будней только тем, что в эти дни жителям, вместо работ, предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бессонная ходьба

по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что, когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть «шабаш!» — как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжения о назначении новых шпионов.

Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы, после долгого перерыва, в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга — и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история, были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? — ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш-Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и, в довершение позора, этот ужасный, этот бесславный прохвост! И все это глушило, грызло, рвало зубами — во имя чего? Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который, с топором в руке, пришел неведомо отколь и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему...

А он между тем неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду; всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться, что это подлинный идиот — и ничего более.

Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо от своего содержания, может поражать воображение; теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, когда ни на ком не тяготел его, исполненный бесстыжества, взор, делалось ясным, что это «громадное», это «всепокоряющее» — не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ.

Как ни запуганы были умы, но потребность освободить душу от обязанности вникать в таинственный смысл выражения «курицын сын» была настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение Угрюм-Бурчеева. Это был уже значительный шаг вперед в деле преуспеяния «неблагонадежных элементов». Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больший и больший авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам и что при таком обороте жизнь сделается возможною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным, в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ.

«Он» даст какое-то счастье! «Он» скажет им: я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми! И они выслушают

эту речь хладнокровно! они воспользуются его дозволением и будут счастливы! Позор!!!

А Угрюм-Бурчеев все маршировал и все смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти и чуть-чуть не воочию выплывают на поверхность неблагонадежные элементы. По примеру всех благопопечительных благоустроителей, он видел только одно: что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец осуществилась, что он подлинно обладает прямою линией и может маршировать по ней сколько угодно. Затем, имеется ли на этой линии что-нибудь живое, и может ли это «живое» ощущать, мыслить, радоваться, страдать, способно ли оно, наконец, из «благонадежного» обратиться в «неблагонадежное» — все это не составляло для него даже вопроса...

Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы все-таки обязывались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены Угрюм-Бурчеевым. Чистились, подтягивались, проходили через все манежи, строились в каре, разводились по работам и проч. Всякая минута казалась удобною для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременною. Происходили беспрерывные совещания по ночам; там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины; но все это было как-то до такой степени разрозненно, что в конце концов могло, самою медленностью процесса, возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте, как Угрюм-Бурчеев.

И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как с наступлением сумерек, какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда, и как, с рассветом дня, те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удерживал его. Как истинный прохвост, он боялся чертей и ведьм.

И вот однажды появился по всем поселенным единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу...

Но здесь я должен сознаться, что тетрадки, которые заключали в себе подробности этого дела, неизвестно куда утратились. Поэтому я нахожусь вынужденным ограничиться лишь передачею развязки этой истории, и то благодаря тому, что листок, на котором она описана, случайно уцелел.

«Через неделю (после чего?), — пишет летописец, — глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, *оно* неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя *оно* было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. *Оно* близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце

померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.

Оно пришло...

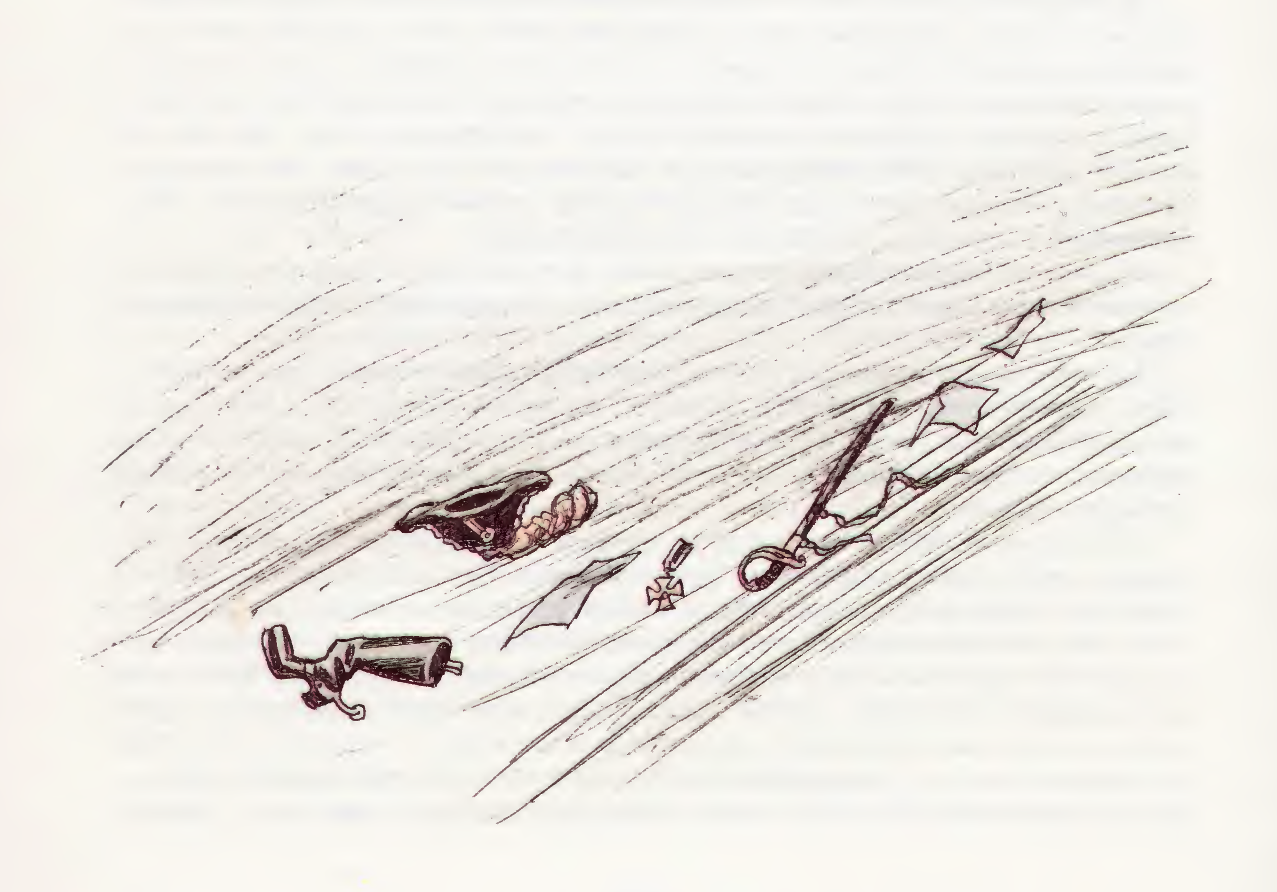
В эту торжественную минуту Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес:

— Придет...

Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе.

История прекратила течение свое».

КОНЕЦ



ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем

СОЧИНИЛ ГЛУПОВСКИЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК ВАСИЛИСК БОРОДАВКИН[1]

Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие. Чтобы они, так сказать, по всему лицу земли едиными устами. О вреде градоначальнического многомыслия распространюсь кратко. Какие суть градоначальниковы права и обязанности? — Права сии суть: чтобы злодеи трепетали, а прочие чтобы повиновались. Обязанности суть: чтобы употреблять меры кротости, но не упускать из вида и мер строгости. Сверх того, поощрять науки. В сих кратких чертах заключается недолгая, но и нелегкая градоначальническая наука. Размыслим кратко, что из сего произойти может?

«Чтобы злодеи трепетали» — прекрасно! Но кто же сии злодеи? Очевидно, что при многомыслии по сему предмету может произойти великая в действиях неурядица. Злодеем может быть вор, но это злодей, так сказать, третьестепенный; злодеем называется убийца, но и это злодей лишь второй степени; наконец, злодеем может быть вольнодумец — это уже злодей настоящий, и притом закоренелый и нераскаянный. Из сих трех сортов злодеев, конечно, каждый должен трепетать, но в равной ли мере? Нет, не в равной. Вору следует предоставить трепетать менее, нежели убийце; убийце же менее, нежели безбожному вольнодумцу. Сей последний должен всегда видеть пред собой пронзительный градоначальнический взор, и оттого трепетать беспрерывно. Теперь, ежели мы допустим относительно сей материи в градоначальниках многомыслие, то, очевидно, многое выйдет наобо-

---

[1] Сочинение это составляет детскую тетрадку в четвертую долю листа; читать рукопись очень трудно, потому что правописание ее чисто варварское. Например, слово «чтоб» везде пишется «штоб» и даже «штоп»; слово «когда» пишется «кахда» и проч. Но это-то и делает рукопись драгоценною, ибо доказывает, что она вышла несомненно и непосредственно из-под пера глубокомысленного администратора и даже не была на просмотре у его секретаря. Это доказывает также, что в прежние времена от градоначальников требовали не столько блестящего правописания, сколько глубокомыслия и природной склонности к философическим упражнениям.— *Издатель.*

рот, а именно: безбожники будут трепетать умеренно, воры же и убийцы всеминутно и прежестоко. И таким образом упразднится здравая административная экономия и нарушится величественная административная стройность!

Но последуем далее. Выше сказано: «прочие чтобы повиновались» — но кто же сии «прочие»? Очевидно, здесь разумеются обыватели вообще; однако же и в сем общем наименовании необходимо различать: во-первых, благородное дворянство, во-вторых, почтенное купечество и, в-третьих, земледельцев и прочий подлый народ. Хотя бесспорно, что каждый из сих трех сортов обывателей обязан повиноваться, но нельзя отрицать и того, что каждый из них может употребить при этом свой особенный, ему свойственный манер. Например, дворянин повинуется благородно и вскользь предъявляет резоны; купец повинуется с готовностью и просит принять хлеб-соль; наконец, подлый народ повинуется просто и, чувствуя себя виноватым, раскаивается и просит прощения. Что будет, ежели градоначальник в сии оттенки не вникнет, а особливо ежели он подлому народу предоставит предъявлять резоны? Страшусь сказать, но опасаюсь, что в сем случае градоначальническое многомыслие может иметь последствия не только вредные, но и с трудом исправимые!

Рассказывают следующее. Один озабоченный градоначальник, вошед в кофейную, спросил себе рюмку водки и, получив желаемое вместе с медною монетою, в сдачу, монету проглотил, а водку вылил себе в карман. Вполне сему верю, ибо при градоначальнической озабоченности подобные пагубные смешения весьма возможны. Но при этом не могу не сказать: вот как градоначальники должны быть осторожны в рассмотрении своих собственных действий!

Последуем еще далее. Выше я упомянул, что у градоначальников, кроме прав, имеются еще и обязанности. «Обязанности!» — о, сколь горькое это для многих градоначальников слово! Но не будем, однако ж, поспешны, господа мои любезные сотоварищи! размыслим зрело, и, может быть, мы увидим, что, при благоразумном употреблении, даже горькие вещества могут легко превращаться в сладкие! Обязанности градоначальнические, как уже сказано, заключаются в употреблении мер кротости, без пренебрежения, однако, мерами строгости. В чем выражаются меры кротости? Меры сии преимущественно выражаются в приветствиях и пожеланиях. Обыватели, а в особенности подлый народ, великие до сего охотники; но при этом необходимо, чтобы градоначальник был в мундире и имел открытую физиономию и благосклонный взгляд. Нелишнее также, чтобы на лице играла улыбка. Мне неоднократно случалось в сем триумфальном виде выходить к обывательским толпам, и когда я звучным и приятным голосом восклицал: «Здорово, ребята!» — то, ручаюсь честью, не много нашлось бы таких, кои не согласились бы, по первому моему приветливому знаку, броситься в воду и утопиться, лишь бы снискать благосклонное мое одобрение. Конечно, я никогда сего не требовал, но, признаюсь, такая на всех лицах видная готовность всегда меня радовала. Таковы суть меры кротости. Что же касается до мер строгости, то они всякому,

даже не бывшему в кадетских корпусах, довольно известны. Стало быть, распространяться об них не стану, а прямо приступлю к описанию способов применения тех и других мероприятий.

Прежде всего замечу, что градоначальник никогда не должен действовать иначе, как чрез посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель *всегда* в чем-нибудь виноват, и потому *всегда же* надлежит на порочную его волю воздействовать. В сем-то смысле первою мерою воздействия и должна быть мера кротости. Ибо, ежели градоначальник, выйдя из своей квартиры, прямо начнет палить, то он достигнет лишь того, что перепалит всех обывателей и, как древний Марий, останется на развалинах один с письмоводителем. Таким образом, употребив первоначально меру кротости, градоначальник должен прилежно смотреть, оказала ли она надлежащий плод, и когда убедится, что оказала, то может уйти домой; когда же увидит, что плода нет, то обязан, нимало не медля, приступить к мерам последующим. Первым действием в сем смысле должен быть суровый вид, от коего обыватели мгновенно пали бы на колени. При сем: речь должна быть отрывистая, взор обещающий дальнейшие распоряжения, походка неровная, как бы судорожная. Но если и затем толпа будет продолжать упорствовать, то надлежит: набежав с размаху, вырвать из оной одного или двух человек, под наименованием зачинщиков, и, отступя от бунтовщиков на некоторое расстояние, немедля распорядиться. Если же и сего недостаточно, то надлежит: отделив из толпы десятых и признав их состоящими на правах зачинщиков, распорядиться подобно как с первыми. По большей части, сих мероприятий (особенно если они употреблены благовременно и быстро) бывает достаточно; однако может случиться и так, что толпа, как бы окоченев в своей грубости и закоренелости, коснеет в ожесточении. Тогда надлежит палить.

Итак, вот какое существует разнообразие в мероприятиях и какая потребна мудрость в уловлении всех оттенков их. Теперь представим себе, что может произойти, если относительно сей материи будет существовать пагубное градоначальническое многомыслие? А вот что: в одном городе градоначальник будет довольствоваться благоразумными распоряжениями, а в другом, соседнем, другой градоначальник, при тех же обстоятельствах, будет уже палить. А так как у нас все на слуху́, то подобное отсутствие единомыслия может в самих обывателях поселить резонное недоумение и даже многомыслие. Конечно, обыватели должны быть всегда готовы к перенесению всякого рода мероприятий, но при сем они не лишены некоторого права на их постепенность. В крайнем случае, они могут даже требовать, чтобы с ними первоначально распорядились, и только потом уже палили. Ибо, как я однажды сказал, ежели градоначальник будет палить без расчета, то со временем ему даже не с кем будет распорядиться... И таким образом, вновь упразднится административная экономия, и вновь нарушится величественная административная стройность.

И еще я сказал: градоначальник обязан насаждать науки. Это так. Но и в сем разе необходимо дать себе отчет: какие науки? Науки бывают разные; одни трактуют об удобрении полей, о построении жилищ человеческих и скотских, о воинской доблести и непреоборимой твердости — сии суть полезные; другие, напротив, трактуют о вредном франмасонском и якобинском вольномыслии, о некоторых якобы природных человеку, понятиях и правах, причем касаются даже строения мира — сии суть вредные. Что будет, ежели один градоначальник примется насаждать первые науки, а другой — вторые? Во-первых, последний будет за сие предан суду и чрез то лишится права на пенсию; во-вторых, и для самих обывателей будет от того не польза, а вред. Ибо, встретившись где-либо на границе, обыватель одного города будет вопрошать об удобрении полей, а обыватель другого города, не вняв вопрошающего, будет отвечать ему о естественном строении миров. И таким образом, поговорив между собой, разойдутся.

Следственно, необходимость и польза градоначальнического единомыслия очевидны. Развив сию материю в надлежащей полноте, приступим к рассуждению о средствах к ее осуществлению.

Для сего предлагаю кратко:

1) Учредить особливый воспитательный градоначальнический институт. Градоначальники, как особливо обреченные, должны и воспитание получать особливое. Следует градоначальников от сосцов материнских отлучать и воспитывать не обыкновенным материнским млеком, а млеком указов правительствующего сената и предписаний начальства. Сие есть истинное млеко градоначальниково, и напитавшийся им тверд будет в единомыслии и станет ревниво и строго содержать свое градоначальство. При сем: прочую пищу давать умеренную, от употребления вина воздерживать безусловно, в нравственном же отношении внушать ежечасно, что взыскание недоимок есть первейший градоначальника долг и обязанность. Для удовлетворения воображения допускать картинки. Из наук преподавать три: а) арифметику, как необходимое пособие при взыскании недоимок; б) науку о необходимости очищать улицы от навоза; и в) науку о постепенности мероприятий. В рекреационное* время занимать чтением начальственных предписаний и анекдотов из жизни доблестных администраторов. При такой системе, можно сказать наперед: а) что градоначальники будут крепки и б) что они не дрогнут.

2) Издавать надлежащие руководства. Сие необходимо, в видах устранения некоторых гнусных слабостей. Хотя и вскормленный суровым градоначальническим млеком, градоначальник устроен, однако же, яко и человеки, и, следовательно, имеет некоторые естественные надобности. Одна из сих надобностей — и преимущественнейшая — есть привлекательный женский пол. Нельзя довольно изъяснить сколь она настоятельна и сколь много от нее ущерба для казны происходит. Есть градоначальники, кои вожделеют ежемгновенно и, находясь в сем достойном жалости виде, оставляют резолюции городнического правления по целым месяцам без утверждения. Надлежит, чтобы упомянутые выше руководства от сей пагубной надобности градоначальников

предостерегали и сохраняли сунружеское их ложе в надлежащей опрятности. Вторая весьма пагубная слабость есть приверженность градоначальников к утонченному столу и изрядным винам. Есть градоначальники, кои до того объедаются присылаемыми от купцов стерлядями, что в скором времени тучнеют и делаются к предписаниям начальства весьма равнодушными. Надлежит и в сем случае освежать градоначальников руководительными статьями, а в крайности — даже пригрозить градоначальническим суровым млеком. Наконец, третья и самая гнусная слаб... (Здесь рукопись на несколько строк прерывается, ибо автор, желая засыпать написанное песком, залил, по ошибке, чернилами. Сбоку приписано: «Сие место залито чернилами, по ошибке».)

3) Устраивать от времени до времени секретные в губернских городах градоначальнические съезды. На съездах сих занимать их чтением градоначальнических руководств и освежением в их памяти градоначальнических наук. Увещевать быть твердыми и не взирать.

и 4) Ввести систему градоначальнического единонаграждения. Но материя сия столь обширна, что об ней надеюсь говорить особо.

Утвердившись таким образом в самом центре, единомыслие градоначальническое неминуемо повлечет за собой и единомыслие всеобщее. Всякий обыватель, уразумев, что градоначальники: а) распоряжаются единомысленно, б) палят также единомысленно,— будет единомысленно же и изготовляться к воспринятию сих мероприятий. Ибо от такого единомыслия некуда будет им деваться. Не будет, следственно, ни свары, ни розни, а будут распоряжения и пальба повсеместная.

В заключение скажу несколько слов о градоначальническом единовластии и о прочем. Сие также необходимо, ибо без градоначальнического единовластия невозможно и градоначальническое единомыслие. Но на сей счет мнения существуют различные. Одни, например, говорят, что градоначальническое единовластие состоит в покорении стихий. Один градоначальник мне лично сказывал: какие, брат, мы с тобой градоначальники! у меня солнце каждый день на востоке встает, и я не могу распорядиться, чтобы оно вставало на западе! Хотя слова сии принадлежат градоначальнику подлинно образцовому, но я все-таки похвалить их не могу. Ибо желать следует только того, что к достижению возможно; ежели же будешь желать недостижимого, как, например, укрощения стихий, прекращения течения времени и подобного, то сим градоначальническую власть не токмо не возвысишь, а наипаче сконфузишь. Посему о градоначальническом единовластии следует трактовать совсем не с точки зрения солнечного восхода или иных враждебных стихий, а с точки зрения заседателей, советников и секретарей различных ведомств, правлений и судов. По моему мнению, все сии лица суть вредные, ибо они градоначальнику, в его, так сказать, непрерывном административном беге, лишь поставляют препоны...

Здесь прерывается это замечательное сочинение. Далее следуют лишь краткие заметки, вроде: «проба пера», «попка дурак», «рапорт», «рапорт», «рапорт» и т. п.

II. О благовидной всех градоначальников наружности

СОЧИНИЛ ГРАДОНАЧАЛЬНИК, КНЯЗЬ КСАВЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ МИКАЛАДЗЕ[1]

Необходимо, дабы градоначальник имел наружность благовидную. Чтоб был не тучен и не скареден, рост имел не огромный, но и не слишком малый, сохранял пропорциональность во всех частях тела и лицом обладал чистым, не обезображенным ни бородавками, ни (от чего боже сохрани!) злокачественными сыпями. Глаза у него должны быть серые, способные по обстоятельствам выражать и милосердие, и суровость. Нос надлежащий. Сверх того, он должен иметь мундир.

Излишняя тучность точно так же, как и излишняя скаредность, равно могут иметь неприятные последствия. Я знал одного градоначальника, который хотя и отлично знал законы, но успеха не имел, потому что от туков, во множестве скопленных в его внутренностях, задыхался. Другого градоначальника я знал весьма тощего, который тоже не имел успеха, потому что едва появился в своем городе, как сразу же был прозван от обывателей одною из тощих фараоновых коров, и затем уже ни одно из его распоряжений действительной силы иметь не могло. Напротив того, градоначальник не тучный, но и не тощий, хотя бы и не был сведущ в законах, всегда имеет успех. Ибо он бодр, свеж, быстр и всегда готов.

То, что сказано выше о тучности и скаредности, применяется и к градоначальническому росту. Истинный сей рост — между 6-ю и 8-ю вершками. Поразительны примеры, представляемые неисполнением сего на первый взгляд ничтожного правила. Мне лично известно таковых три. В одной из приволжских губерний градоначальник был роста трех аршин с вершком, и что же? — прибыл в тот город малого роста ревизор, вознегодовал, повел подкопы и достиг того, что сего, впрочем, достойного человека предали суду. В другой губернии столь же рослый градоначальник страдал необыкновенной величины солитером. Наконец, третий градоначальник имел столь малый рост, что не мог вмещать пространных законов, и от натуги у́мре. Таким образом, все трое пострадали по причине непоказанного роста.

Сохранение пропорциональностей частей тела также не маловажно, ибо гармония есть первейший закон природы. Многие градоначальники обладают длинными руками, и за это со временем отрешаются от должностей; многие отличаются особливым развитием иных оконечностей, или же уродливою их малостью, и от того кажутся смешными или зазорными. Сего всемерно избегать надлежит, ибо ничто так не подрывает власть, как некоторая выдающаяся или заметная для всех гнусность.

Чистое лицо украшает не только градоначальника, но и всякого человека. Сверх того, оно оказывает многочисленные услуги, из коих первая — доверие начальства. Кожа гладкая без изнеженности, вид

---

[1] Рукопись эта занимает несколько страничек в четвертую долю листа; хотя правописание ее довольно правильное, но справедливость требует сказать, что автор писал по линейкам.— *Издатель.*



смелый без дерзости, физиономия открытая без наглости — все сие пленяет начальство, особливо если градоначальник стоит, подавшись корпусом вперед и как бы устремляясь. Малейшая бородавка может здесь нарушить гармонию и сообщить градоначальнику вид продерзостный. Вторая услуга, оказываемая чистым лицом, есть любовь подчиненных. Когда лицо чисто и притом освежается омовениями, то кожа становится столь блестящею, что делается способною отражать солнечные лучи. Сей вид для подчиненных бывает весьма приятен.

Голос обязан иметь градоначальник ясный и далеко слышный; он должен помнить, что градоначальнические легкие созданы для отдания приказаний. Я знал одного градоначальника, который, приготовляясь к сей должности, нарочно поселился на берегу моря и там во всю мочь кричал. Впоследствии этот градоначальник усмирил одиннадцать больших бунтов, двадцать девять средних возмущений и более полусотни малых недоразумений. И все сие с помощью одного своего далеко слышного голоса.

Теперь о мундире. Вольнодумцы, конечно, могут (под личною, впрочем, за сие ответственностью) полагать, что пред лицом законов естественных все равно, кованая ли кольчуга или кургузая кучерская поддевка облекают начальника, но в глазах людей опытных и серьезных материя сия всегда будет пользоваться особливым перед всеми другими предпочтением. Почему так? а потому, господа вольнодумцы, что при отправлении казенных должностей мундир, так сказать, предшествует человеку, а не наоборот. Я, конечно, не хочу этим выразить, что мундир может действовать и распоряжаться независимо от содержащегося в нем человека, но, кажется, смело можно утверждать, что при блестящем мундире даже худосочные градоначальники — и те могут быть на службе терпимы. Посему, находя, что все ныне существующие мундиры лишь в слабой степени удовлетворяют этой важной цели, я полагал бы необходимым составить специальную на сей предмет комиссию, которой и препоручить начертать план градоначальнического мундира. С своей стороны, я предвижу возможность подать следующую мысль: колет* из серебряного глазета, сзади страусовые перья, спереди панцирь из кованого золота, штаны глазетовые же и на голове литого золота шишак, увенчанный перьями. Кажется, что, находясь в сем виде, каждый градоначальник в самом скором времени все дела приведет в порядок.

Все сказанное выше о благовидности градоначальников получит еще большее значение, если мы припомним, сколь часто они обязываются иметь секретное обращение с женским полом. Все знают пользу, от сего проистекающую, но и за всем тем сюжет этот далеко не исчерпан. Ежели я скажу, что через женский пол опытный администратор может во всякое время знать все сокровенные движения управляемых, то этого одного уже достаточно, чтобы доказать, сколь важен этот административный метод. Не один дипломат открывал сим способом планы и замыслы неприятелей и через то делал их непригодными; не один военачальник, с помощью этой же методы, выигрывал сражения или своевременно обращался в бегство. Я же, с своей сто-

роны, изведав это средство на практике, могу засвидетельствовать, что не дальше как на сих днях, благодаря оному, раскрыл слабые действия одного капитан-исправника, который и был, вследствие того, представлен мною к увольнению от должности.

Затем нелишнее, кажется, будет еще сказать, что, пленяя нетвердый женский пол, градоначальник должен искать уединения, и отнюдь не отдавать сих действий своих в жертву гласности или устности. В сем приятном уединении он, под видом ласки или шутливых манер, может узнать много такого, что для самого расторопного сыщика не всегда бывает доступно. Так, например, если сказанная особа — жена ученого, можно узнать, какие понятия имеет ее муж о строении миров, о предержащих властях и т. д. Вообще же необходимым последствием такой любознательности бывает то, что градоначальник в скором времени приобретает репутацию сердцеведца...

Изобразив изложенное выше, я чувствую, что исполнил свой долг добросовестно. Элементы градоначальнического естества столь многочисленны, что, конечно, одному человеку обнять их невозможно. Поэтому и я не хвалюсь, что все обнял и изъяснил. Но пускай одни трактуют о градоначальнической строгости, другие — о градоначальническом единомыслии, третьи — о градоначальническом везде-первоприсутствии; я же, рассказав, что знаю о градоначальнической благовидности, утешаю себя тем,

Что тут и моего хоть капля меду есть...

III. Устав о свойственном градоправителю добросердечии

СОЧИНИЛ ГРАДОНАЧАЛЬНИК БЕНЕВОЛЕНСКИЙ

1. Всякий градоправитель да будет добросердечен.

2. Да памятует градоправитель, что одною строгостью, хотя бы оная была стократ сугуба, ни голода людского утолить, ни наготы человеческой одеть не можно.

3. Всякий градоправитель приходящего к нему из обывателей да выслушает; который же, не выслушав, зачнет кричать, а тем паче бить — и тот будет кричать и бить втуне*.

4. Всякий градоправитель, видящий обывателя, занимающегося делом своим, да оставит его при сем занятии беспрепятственно.

5. Всякий да содержит в уме своем, что ежели обыватель временно прегрешает, то оный же еще того более полезных деяний соделывать может.

6. Посему: ежели кто из обывателей прегрешит, то не тотчас такого усекновению предавать, но прилежно рассматривать, не простирается ли и на него российских законов действие и покровительство.

7. Да памятует градоправитель, что не от кого иного слава Российской империи украшается, а прибытки казны умножаются, как от обывателя.

8. Посему: казнить, расточать или иным образом уничтожать обывателей надлежит с осмотрительностью, дабы не умалился от таковых расточений Российской империи авантаж* и не произошло для казны ущерба.

9. Буде который обыватель не приносит даров, то всемерно исследовать, какая тому непринесению причина, и если явится оскудение, то простить, а явится нерадение или упорство — напоминать и вразумлять, доколе не будет исправен.

10. Всякий обыватель да потрудится; потрудившись же, да вкусит отдохновение. Посему: человека гуляющего или мимо идущего за воротник не имать и в съезжий дом не сажать.

11. Законы издавать добрые, человеческому естеству приличные; противоестественных же законов, а тем паче невнятных и к исполнению неудобных не публиковать.

12. На гуляньях и сборищах народных — людей не давить; напротив того, сохранять на лице благосклонную усмешку, дабы веселящиеся не пришли в испуг.

13. В пище и питии никому препятствия не полагать.

14. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.

15. В остальном поступать по произволению.



ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 5

Нестомчивость — выносливость.

Архивариус — чиновник, ведающий архивом.

Стр. 9

Весь — селение, деревня.

Горé — вверх, к небу.

Дóлу — вниз, к земле.

Кýпно — вместе, совместно.

Неумытный — неподкупный, честный.

Стр. 10

Виноград — сад, в переносном смысле город, общество.

Скудéльный сосуд — глиняный сосуд; в переносном значении о человеке, как о слабом, бренном существе.

Стр. 13

Соложёное тесто — тягучее сладкое тесто из солода, то есть из проросшей ржи, которое едят сырым.

Стр. 15

Алтын да деньгá — старинные монеты; алтын — в 6 денег, или в 3 копейки (ср. пятиалтынный — 15 коп.), деньга — полкопейки.

Грош — старинная монета в 2 копейки, позднее — полкопейки.

Стр. 17

Хабарá — барыши, взятка.

Пáлтусина — мясо беломорской рыбы палтуса.

Сычýг — кушанье, приготовленное из коровьего желудка.

Стр. 18

Гóршая — более горькая, худшая.

Стр. 20

Лейб-кáмпанцы — гвардейские офицеры и солдаты, участники дворцовых переворотов XVIII века.

Амант — любовница (*франц.* amante).

Стр. 21

Игра ламýш — карточная игра.

Съе́зжий дом, или съе́зжая,— помещение при полицейском участке, в котором наказывали розгами.

Стр. 22

Прохво́ст — искаженное наименование «профоса» — солдата в армии XVIII века, убиравшего нечистоты и приводившего в исполнение приговоры о телесном наказании.

Стр. 24

Архистрати́г — военачальник; здесь употреблено как ироническое название чиновников.

Скрижа́ли — каменные доски, на которых, по библейскому преданию, были высечены заповеди Моисея. В переносном смысле — все, что хранит памятные события, даты, имена.

Стр. 30

Вертогра́д — то же, что виноград (см. стр. 10).

Эскула́п — врач.

Стр. 32

Камила́вка — особой формы головной убор, знак отличия, награды у православных священников.

Силлоги́зм — вывод из двух или нескольких суждений.

Стр. 33

Лжеиере́й — самозваный, ненастоящий священник.

Помава́ть — покачивать, махать.

Раче́ние — старание, усердие.

Стр. 39

Раска́т — крепостной вал или высокая насыпь с помостом.

Босто́н — карточная игра.

Стр. 40

«Недрема́нное око», или «недре́млющее око»,— в данном случае подразумевается жандармское наблюдение.

Штаб-офице́р — старший офицерский чин; здесь имеется в виду жандармский штаб-офицер.

Стр. 48

Крамо́ла — заговор, измена.

Стр. 54

Поя́рковый грешневи́к — шляпа из овечьей шерсти (я́рка — овца) в форме блина (гречневый блин).

Стр. 55

Гуня́вый — гнусавый; в другом значении — плешивый, неуклюжий.

Ше́леп — плеть, веревочный кнут с короткой рукояткой.

Стр. 56

Ка́зус — случай.

Стр. 58

«Новая сия Иезавель... навела на наш город сухость».— По библейскому преданию, Иезавель, жена царя Израиля— Ахава, навлекла своим греховным поведением гнев бога на израильский народ.

Животы́ — здесь: домашний скот.

Стр. 59

Драдеда́мовый — сделанный из тонкого сукна.

Стр. 60

Вене́ц принять — умереть мученической смертью.

Стр. 63

«И се́ не бе́» — «И этого не станет».

Взбонди́ровать — высечь.

Стр. 74

«На ре́ках вавило́нских».— По библейскому преданию, песнь горя и тоски древних иудеев, находившихся в вавилонском плену.

Стр. 77

Покаяние его а́спидово (а́спид) — ложное, коварное покаяние.

Стр. 82

Амфитрио́н — гостеприимный хозяин, распорядитель пира.

Стр. 86

Вя́щий — наибольший, наивысший.

Стр. 89

Сепара́тный — отдельный, обособленный.

Стр. 90

Крин се́льный — полевой цветок.

Стр. 92

Колли́зия — столкновение противоположных сил.

Промена́д (*франц.*) — прогулка.

Стр. 94

Стегно́ — бедро.

Конце́ссия (*лат.*) — договор на сдачу в эксплуатацию.

Стр. 95

Амана́ты — заложники.

Стр. 97

Абрис — контур, очертание.

Деморализа́ция — упадок дисциплины.

Стр. 101

Фалансте́р — большое здание-дворец, в котором, по идее француз-

ского социалиста-утописта Шарля Фурье, живет «фаланга», то есть сообщество группы людей в коммунистическом строе будущего.

Стр. 108

Атуры — женские наряды.

Стр. 110

Наипа́че — наиболее.

Стр. 112

Memento mori! — Помни о смерти! *(лат.)*

Апокалипсическое письмо — мистическое письмо.

Стр. 114

Доктринёр — начетчик, человек, придерживающийся заученных, оторванных от жизни истин, принятых правил.

Стр. 117

Презо́рный — презирающий правила или законы.

Десть — мера счета бумаги, равнялась 24 листам.

Стр. 118

Petits levés — интимные утренние приемы у королей Франции (*франц.*)

Стр. 121

Заполева́ть — добыть на охоте.

Стр. 124

Мамона — бог богатства (у древних сирийцев); в переносном значении: грубые, чувственные наслаждения.

Спиритуали́зм — идеалистическое учение, признающее истинной реальностью дух, а не материю.

Стр. 125

Эмана́ция — истечение, излучение.

Стр. 126

Тавтоло́гия — повторение того же самого другими словами, ничего по смыслу не прибавляющее, а потому лишнее.

Стр. 129

Вико́нт — дворянский титул во Франции.

Passer son temps á faire des bêtises — весело проводить время *(франц.)*.

Façons de parler — пустые разговоры *(франц.)*.

Стр. 130

Дебардёром — грузчиком.

Гривуа́зные — легкомысленные, нескромные.

Стр. 131

Причётник — дьячок, младший по чину церковнослужитель.

«Sont-ils bêtes! dieux des dieux! sont-ils bêtes, ces moujiks de Gloupoff!» — «Какие дураки, клянусь богом! Какие дураки эти глуповские мужики!» *(франц.)*

«A moi l'pompon», или «La Vénus aux carottes» — «Ко мне, мой помпончик!», или «Венера с морковками» — названия французских песенок, легкомысленного содержания, которые распевали в Петербурге в увеселительных заведениях приезжие французские певцы.

Стр. 134

Политеи́зм — многобожие.

Стр. 135

Монотеи́зм — однобожие.

Кипри́да — богиня любви.

Стр. 136

Меценáт — покровитель искусств.

Стр. 137

Демаркациóнная черта — разграничительная черта.

«Violettes de Parme» — духи «Пармские фиалки» *(франц.)*.

Стр. 138

Свет Фавора — мистический свет истины (от Фавора, по евангельскому преданию, священной горы).

Стр. 139

Пиети́сты — сторонники пиетизма, религиозного направления, отвергавшего обрядовую сторону религии и противопоставлявшего ей мистицизм, проповедь благочестия и нравственного самосовершенствования.

Пéрси — грудь.

Стр. 142

Тюрбó — рыба палтус.

Стр. 143

Агаря́не — по библейскому преданию, потомки Агáри, рабыни Авраáма, ставшей его женой; в старой русской литературе так называли всех магометан.

Стр. 147

Сми́рна и ливáн — восточные ароматические смолы, лáдан.

Пещи́сь — заботиться, опекать.

Стр. 148

Бомóнд — высший свет *(франц.* beau monde).

Теолóгия — богословие.

СОДЕРЖАНИЕ

От издателя 5

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ. *От последнего архивариуса-летописца* 8

О КОРЕНИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЛУПОВЦЕВ 11

ОПИСЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИКАМ, В РАЗНОЕ ВРЕМЯ В ГОРОД ГЛУПОВ ОТ ВЫШНЕГО НАЧАЛЬСТВА ПОСТАВЛЕННЫМ (1731—1826) 19

ОРГАНЧИК 23

СКАЗАНИЕ О ШЕСТИ ГРАДОНАЧАЛЬНИЦАХ. *Картина глуповского междоусобия* 38

ИЗВЕСТИЕ О ДВОЕКУРОВЕ 50

ГОЛОДНЫЙ ГОРОД 53

СОЛОМЕННЫЙ ГОРОД 67

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 79

ВОЙНЫ ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ 85

ЭПОХА УВОЛЬНЕНИЯ ОТ ВОЙН 106

ПОКЛОНЕНИЕ МАМОНЕ И ПОКАЯНИЕ 124

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЯНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 150

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 177

I. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем. *Сочинил глуповский градоначальник Василиск Бородавкин* . . 177

II. О благовидной всех градоначальников наружности. *Сочинил градоначальник, князь Ксаверий Георгиевич Микаладзе* 182

III. Устав о свойственном градоправителю добросердечии. *Сочинил градоначальник Беневоленский* 185

Послесловие. С. А. Макашин. Глупов перед судом Щедрина . . . 189

Примечания 201

ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

ИБ № 4787

Ответственный редактор
К. А. ЧЕРНЕНКО

Художественный редактор
Н. И. КОМАРОВА

Макет
М. А. КУТУЗОВОЙ

Технический редактор
В. К. ЕГОРОВА

Корректоры
Э. Л. ЛОФЕНФЕЛЬД
и Г. В. РУСАКОВА

Сдано в набор 29.11.79. Подписано к печати 04.05.81. Формат 65×94¹/₈. Бум. офс. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,38. Усл. кр. отт. 110,75. Уч.-изд. л. 19,82. Тираж 50 000 (10 001—50 000) экз. Заказ № 607. Цена 3 р. 40 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Салтыков-Щедрин М. Е.

С16 История одного города/ Послесл. С. Макашина; Худож. Кукрыниксы.— М.: Дет. лит., 1981.— 207 с., ил.

В пер.: 3 р. 40 к.

«История одного города» Салтыкова-Щедрина, созданная на рубеже 60—70-х годов прошлого века, принадлежит к числу наиболее замечательных произведений не только русской, но и мировой сатирической литературы.

$С\frac{70803-317}{М101(03)81}$ **Без объявл.** **Р1**


ozon.ru
выбирайте
1093461320